

*Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит;
Бездна звезд на небе,
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла
Чудная природа...*

Алексей Кольцов¹

1

*Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;
Разгорелся день
Огнем солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор.*

В крайний день недели, в субботу 17 апреля 1926 года, Владимир Долгов проснулся еще до зоревых часов, не в пример как рано, третьи петухи едва пробовали голосить. Тотчас по обычаю схватился на локоть, раз готов был уже встать, но не встал, глаза задержались на жене. Она улыбалась во сне.

«Во кому житышко развэсэла малинка. Бач!..² Шо бабе хотелося, то и наснилося! Ит ты, як малэ дите цвэтэ-лыбится!..»

* *Журнальный вариант.*

¹ Все стихотворные эпиграфы в этом романе принадлежат великому воронежцу, Алексею Васильевичу Кольцову.

² Б а ч (укр.) — вишь (ты), ишь (ты), каково, поди, вот, смотри!

Эта улыбка немало подивила Владимира. Раньше он не знал этой лучезарной улыбки своей Сашони; Сашоня никогда так цветасто не улыбалась, разве что еще, может, в давешнюю предвечную сладкую пору, так с той поры сколько слилось снегов, сколько отцвело садов... Все то далече отошло, позабылось совсем, и Володьша привык, просыпаясь всегда первым, видеть кроткое, тихое, какое-то страдальчески виноватое выражение на ее сонном яблочно-круглявом лице.

Владимир приподнялся — окно мутно белело.

— А-а! Шоб оно скисло манэсэнким! — распаленно проворчал Владимир. В спешке перескакачил через жену.

Каков зачин, такова и песня.

Почин дня у Владимира своеобразный, панасковский (его зовут по-уличному Панасок): выходит он за порог сановито, с сознанием святости момента, выходит как великий воин к своему войску, которое уже готово к делу; поверх всего выходит и с той быстротой и радостью во всей фигуре, в лице, в походке, с какой покидает темницу не по делам, а по злому навету попавший в нее человек: срок вот сошел, темница уже за спиной, и он, содрав с головы шапку перед этим новым днем, перед этим небом в барашках, сулящим утро доброе, раскидывает руки до хруста в плечах.

С непокрытой головой, с малахаем в руке Володьша входит перво-наперво в денник.

— Ну, шо тут наш Панасок? — спрашивает глянцевито-седого жеребца в черных шикозных носочках. — Драстуйте Вам!

С легким ржанием жеребец поворачивает на голос голову, Владимир прислоняет ее в ласке себе к груди, сатиновой подкладкой малахая вытирает жеребцу низ глаз.

— Вот и мы умылись... Спрашуешь, а где наш завтрик? Во-от наш завтрик... Пospel наш завтрик...

Владимир достает из ублаченной в работе стеганки горсть теплого — ватник висел на печке — овса, припасенного еще с вечера, и не без восторга наблюдает, как зерно старательно подбирается толстыми радостными губами.

Склочные сухие голоса грачей скрипят в лозняке за хатой. Не переставая есть, конь наставляет самолетиком уши на грачиный брех, как бы вслушиваясь, про что это там грачи судачат, и Владимиру думается про весну, про то, что вот через неделю какую и в поле, про то, как тяжело будет им обоим, и Панаску, и самому Волику, и надо, разнепременно надо молодцом управиться с севом...

Володьша приносит жеребцу овса в ведре, воды.

Усмехается:

— Накорми коня, он и видок подаст...

Сделав одно, он без внешней спешки, обстоятельно наваливается на другое, ладит грабли, уталкивает сани вглубь двора, под навес, берется насаживать колесный обруч...

И мелькает юркая фигурка то в одном конце двора, то в другом.

Малахай у Владимира на самом затылке. Жарко! Наконец малахай ему кажется вовсе ни к чему, и он вжимает его под соломенную стреху амбара на удивленья воробьям.

Ростом Володьша не взял по той простой причине, как он сам пояснял с присмешкой, мало на меня дождя шло, того и присох на корню. При встрече незнакомые глядят ему вслед, дивятся, как он мал. Дивится и сам Волька. В лице, в тонких его чертах, особенно в глазах — восхищение, удивление такое, что его и скрыть не скроешь, как ни пожелай. Владимир не бреется. Окладистая борода весьма кста-ти зимой утепляет лицо, делает его несколько старше его сорока двух лет.

Но, пожалуй, самое занятное в Володьше его походка. Ходит он так, что сразу

не поймешь, то ли он собирается бежать, уже срывается на бег, то ли он уже бежит-идет. Голова, верх корпуса всегда сильно наклонены вперед, как у бегуна; ноги, обутые в кирзовые сапоги, в которые заправлены домотканые штаны, как будто отстают где-то сзади, отчего чудится, не пойдя он быстрее, точнее, не побеги — упадет лицом.

Если слегка поцарапать голову, подумать, отчасти можно уяснить торопливую походку Владимира. Тяжела шапка у отца семейства, в котором помимо жены, семнадцатилетней дочки Пелагии, сынов Петра десяти лет и Егорки, минул вот на Сретенье второй годочек, развязал третий, еще с полк неспособных уже к хлебному делу стариков: 95-летний дед Кузьма, его сын Арсений, Владимиров отец, мать Владимира — Оксана, ее брат, больной дядька Арсюха, тезка Владимирову отцу. Эко Ноев ковчег! За них на том свете уже давно хороший получают пенсион, но кормить всех надо еще на этом; да всякого накорми, напои, а дела не проси.

Мало-помалу утро разгорается.

Насаживая обруч на тележное колесо, Владимир вошел в пот. Облокотился на тележную грядку из вяза, рукавом собирает пот со лба и ясно улыбается из-под ладошки жене. Степенно переваливаясь с ноги на ногу, как хорошая гуска, круглявая Сашоня медленно шествует с подойником к корове, нарочито не видя в упор своего Володяшу... С кизяком, с ботвиным на топку прожгла Поля.

Владимиру не стоитя у телеги в молодое, погожее утро, и он, то ли жмурясь от первых золотых лучей, то ли улыбаясь им, идет посмотреть на своих *пансионеров*. Всех неработающих мужиков, — и ребят своих, и стариков — навеличивал он *пансионерами*, намекая в пошутилку, мол, живете, как панове, и отвел им одну дальнюю глухую комнату-*пансион*. В дом заходить не хочется, он семенит к неплотно занавешенному окну и видит в глазок Петра с Егоркой на одной кровати. Ручонки разбросали как не свои, у Егорки ножка свесилась... Старчики — сами с ноготок, а белые бороды с локоток — лежат по одному, лица, как у святых с икон.

Сравнение легло Володьше к душе; к глазам живо поднесло вчерашнюю картинку, и он тихо рассмеялся, боясь побудить кого из *панов*, пускай те и спали крепко, хоть огня подожгли...

Утро еще раннее; наворочено довольно; чувствует Владимир, что на роздых вполне заработал, и он садится на широкую неструганую лавку под старой разлапой грушей, в бережи достает из красного кисета на пояске тяжелую черную, как голенище, от дыма, от времени люльку, втыкает в уголок рта.

Владимир сроду не курил и не курит, но вы бы посмотрели, как с важностью завязатого казацкого атамана первой руки он посасывает сейчас эту трубку без табака, без дыма, без огня! Все счастье Владимира не в дыме, а вовсе в другом, в том, что эта трубка случилась именно в его руках...

О, если бы вы знали, как много может рассказать эта трубка, родившаяся под ножом где-нибудь на Днепре... Никто не скажет, сколько ей лет. На худой конец могут наперед заверить, что ей, как и казацкому роду, нет перевода. Владимиру на его свадьбе эту трубку преподнес отец. Было у него пятеро сыновей, а вот выбрал Вольку и преподнес этот знак запорожской казацкой вольницы. Отцу трубка досталась от деда, деду от прадеда и так она в роду шла-кочевала из поколения в поколение.

Память...

По истории, в глухую старину на Воронежье жили «неразумные хазары», печенеги, половцы, татары. Уже потом, позже пришли великорусы с зимней, полночной, — северной стороны. Алексей Михайлович и Петр Алексеевич выселяли сюда мастеровых, стрельцов, военный и работный люд, боярских детей, не пожелавших служить.

Море понабилось черкасов (так в былые времена здесь называли украинцев)

после слова в 1775 году Запорожской Сечи и украинского самостоятельного казачества.

Умей Владимировна люлька говорить, какую бездну занятого и жуткого поведала б она о своих хозяевах, чумаках-скитальцах, которые обозом в сотню воловьих фур да при выборном обозном атамане смело хаживали в дальние дальности, одолевая в сутки по двадцать пять верст. Сам Волька еще в парубках ходил с обозом и в Царицын за рыбой, и в Бахмут за солью, а уж про Воронеж да про Елец, куда возили пше-ницу на ссыпки, лучше помолчать. Очень часто, чаще, чем в церковь ходили.

Случалось, с дороги чумак, весь в дегте, весь в смоле, возвращался не при ба-рыше, а в полном накладе, да при молодой жене.

Смешанные браки благоприятствовали обрусению; и что еще само спешит-про-сится в строку — мужики первые приклонялись к русскому и корень того был в долгих дорогах. Как-то уже так оно само выплясывалось, что, вернувшись домой, чумак и не замечал, что прилипли в скитаниях чужие глянувшиеся слова лезли на язык, толклись на языке и дома.

Зато баба... На миру, на выездах, она никогда не бывала, дальше поля своего не выскакивала. Пришлому слову она не торопилась кланяться. На ней держался дом, на ней держался и язык дома.

Однако тот давний запорожский казак, точнее, его потомок ощутимо подру-сел, но при всем при том в языке его что-то да и зацепилось, уцелело, выжило такое, что все-таки напоминает, пускай и отдаленно, украинскую речь.

Заговори сегодня воронежский степняк с чистокровным запорожцем — вряд ли поймут в доподлинности друг друга с первых глаз, а вот крючковатые слова, живописно перекрученные судьбой вдали от днепровской сини, непременно рас-колдуют союзом, уяснят себе тот же час; зато манера слушать, лучезарно светясь и сияя и загодя в искренности радуясь каждому звуку, каждому жесту рассказ-чика, зато манера говорить, говорить пленительно-певуче, доверительно-мягко, говорить светло-доброжелательно — Боже праведный, да все это духом сполна выкажет родство, хоть и разделенное пропастью веков.

Все в мире тлен, бессмертен лишь язык. Богатеет, разживается он новыми сло-вами и в то же время постепенно лишается чего-то устарелого, отжилого, но ни-когда не умирает, как не умирает сам народ.

— Тату! А я никак тебя не побачу по-за дымом. Думала, горишь. А цэ ты так куришь...

Владимир обернулся на шуточный голос; тяжело, кошелкой, шла от дома жена, тихая, затаенная улыбка конфузливо плыла по ее праведно-покорному полному лицу.

— Бросай-но окуривать грушу. Иди-но завтрикать. Пора подвеселить зубки... Завтрик уже поспел.

Владимир нехотя прячет люльку в расшитый кисет.

2

*Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?*

Запоздавший Егорка небрежно молился в плутоватой спешке.

— Что мотаешь рукой, как цепом! — подструнил его Владимир и с поклоном поздоровался со стариками, они уже сидели за столом:

— Здорово себе ночевали.

Старики степенно в ответ закивали.

Все они ждали его одного, без хозяина никто не смел начать против обычая. Но вот хозяин занял свое место за столом, заждавшимся ложкам дана воля. Как заведено, каждый молча, обстоятельно черпает непременно полную ложку, будто взаймы.

Поев, старики так же без слов выходят друг за дружкой из-за стола с той стороны, с какой и заходили, это, чтоб беседу не ломать, идут оттаивать свои косточки на солнышке, уже теплом с самой рани.

А солнце между тем подпекало; жарко уже; старики снимают овчинные шапки, расстегивают на верхние петельки тулупы и даже ворота полотняных толстовок; наконец жара окончательно подломила; упрели, устали они от неподвижно-го сиденья.

— За плечьями як ангелы сидять, — говорит Кузьма. — Пишлы по двору поспытыкаемось...

— А чего ж не пойтить, — соглашается Арсюха.

Оставив на порожках шапки, тулупы, они утягиваются размять ноги в безмолвном, в грустном путешествии по двору.

Манит стариков наотмашь распахнутая амбарная дверь; не стовариваясь, медленно подскребаются к ней, приставляют сухие ладошки козырьками к глазам — с улицы, с солнца, с такой яркости сразу и не разберешь, кто там хлопочет в амбарном сумраке; но через минуту какую глаза свыкаются с темнотой и совсем ясно видят, как Волик пересыпает ковшом семенную гирьку (сорт пшеницы) из сусеки в мешок, и Петро, мелконький, верткий, жилистый — вот отлиток отца! — помогает бате широко держать мешок.

— Ну шо, Петро, колы будэ тепло? — с подвохом щурится дед Арсюха. — Колы нам можно будэ везти кожухи на ярманку? А?

Петро хмурится, поджимает губы; с обиды начинает сопеть.

— Чего сопишь? Иля много знашь?... Шо за музыка — обижатьтя... Ну-ну, молчу... Работай! Може, — сердце мое чует, суттавы мой говорить, — може, и забоботаеш на воду к хлебу иля на шнурочек от бублика...

Мальчик не знает, что сказать, и зачем-то еще ниже угинает голову; и без того мелкорослый, как бы сказал дед Кузьма, раку по плечишки, он, Петро, становится еще мельче, сутулее, как-то виноватее, что ли; и далекие детские голоса игравших в лапту одногодков где-то на самом на отлете Криничного яра заглушаются учащенным стуком маленького хлопотливого сердечка.

— Ну что, горит душа поточить копытца на выгоне? — участливо спрашивает Владимир сына, качнув головой в сторону ребячьих голосов.

Мальчик придавленно молчит, краснеет.

— Ну, бежи, бежи. На сегодня будэ.

Мальчика как радостным ветром уносит.

В шесть рук завязав полный чувал с зерном, мужики усаживаются на лавке у амбара; сам собой настегивается раздумчивый разговор о весне, о севе, о погоде, о будущем урожае, и за всеми словами, за вздохами одна мольба-слезница: уроди, Боже, дай-подай хлеба: солома в оглоблю, колос в дугу, зерно в набалдашник. Ах, их бы речи да Богу в уши!

— Мать, а мать! — окликнул Волик Сашоню, она наливала из деревянной кружки воду в сковородку для кур. — Где у нас Полька?

— Полька? У криницы холсты полоще. Сбегать позвать?

— Сам схожу.

За долгое потное утро Владимир весь изломался в этой бесконечной беличьей круговерти по двору: тут подтяни, там вон подбей, там переложу, а там... Батеньки, да нешто у Володьши тыща рук, не какая же он не индусская танцующая Шива,

он всего-то и есть что Волик Долгов, все то и богатства у него, что две руки православные, и все ж доволен, что не ляпал спозаранок в две сонные руки — сработал, и то, может быть, вдесятеро против себя, сработал в лад, дорого теперь глянуть с улицы посверх плетня, утыканного банками, на двор свой, крепкий, хозяйский, в холе.

Ему подумалось, а не так уж и кисло тянет он свой воз, раз на хуторе старые мужики в зависти покачивают головами. Ай да молодец, Панасок! Ай да молодец, Волик!

Усталый Владимир вmale подобрался и еще раз, уже с налетом не то удивления, не то сановитости, глянул с улицы на свой двор поверх низкого, вровень с Петром, плетня и невесть чему улыбнулся несмело, рассеянно. Улыбнулся своим делам? Эти дела были дитя его рук, его души; он видел, что дитя его не хуже, чем у кого, хошь сравни по соседям в Криничном яру, и стыдливая радость распустилась розой на его по-мальчишески веснушчатом лице, будто кто сегодня на заре сыпанул в лицо горсть веснушек, сыпанул кучкой, в одно место, веснушки не успели разбежаться от носа далеко, да теперь и не разбегутся: облило их утреннее солнце глазурью, теперь не смоеет ни одна роса, не выест ни один пот, пускай и седьмой; ему сдавалось, небо сегодня не в пример выше вчерашнего; звенел птичьими голосами и весь лог Лозовой, приютивший два века назад первых выходцев из Новой Криуши, приютивший и весь отселок, хуторок Собацкий; проснувшийся, умывшийся, наевшийся хуторок стучал, точил, отбивал, пел металлом — в этих извечных предпосевных весенних хлопотах всяк слышал могучую музыку пробуждения; хошь и велика зима наша, а и та прошла, и весна нам не чужая, и лето нам родич большой, и осень-панночка не зла к нам, а шапку пред ней ломишь да на колени валишься, до тех степеней любя каждому, и осень каждому своя, богатейским сыпнет урожаем, только дай всему ум, дай всему простор.

Владимир шел по своей улочке и все с ним здоровались по-особенному почтительно. В ответ он кланялся и старикам и детям без разбору: с поклона голова не отвалится.

У криницы он нечаянно застигнул дочуню Полю в болтовне с Серегой Горбылевым! Володьша в изумлении пример у плетня. Вот так так! Докатилась до грязи девка! В день, при народе свиданничать!.. И холстину напаласкивает, и шуры-мурничает!.. Ой, девонько, наряду я тебе на кривое веретено!

Увидела Поля отца, еще круче наклонилась к корыту, ожесточенней навалилась на стирку. Руки у нее красно горели, холодна родниковая лед-вода.

Не ускользнуло от Долгова и то, как горбылевский бычок, заметив его, по-скорому черпнул в ведро, может, на вершок всего, и стриганул Володьше навстречу, норовисто угнув голову, будто собирався его боднуть, но вместо всего того с благочинностью в голосе, важевато, мудрено так поздоровался:

— Путь вам чистый на дороженьку... Счастливо!

Долгов зачем-то улыбнулся ему в полупоклоне, чинно даже оглянулся в улыбке, дивясь неожиданно хитрому и отрадному приветному слову; и чем долее смотрел он парню вослед, тем приметней сияние на его лице вытеснялось недоумением, а там уже и гневом.

Раскипелся Владимир, разозлился на себя за то, что вот в срам себе на голову раскланялся — и раскланялся-то как? — почитай не ломал шапку перед этим шалопаем, которого смертно не терпел, и не только его одного, а и всю горбылевскую рать.

К Горбылевым, к соседям, у Долгова была затаенная, заскорузлая давешняя злость. А разберись да разложи все по веточкам, что и делал он частенько ночами, так Горбыли не так чтобы и плохи. Приветливые, этого у них не отберешь; без

зла, с добром живут к людям, последним поделится... Как-то вон цыганье залетное по дворам гадало. Где пирожок, где скибка хлеба с ладошку, то и вся им красная плата за брехеньки, а Горбыль, сам, фуфайку с гвоздка да и старой ведьме, мол-де, морозики вечерами еще пошаливают, а ты в одном, прости Господи, платьишке, рано кожушок продала... Ну не дурак? Дурак, неумытый дурак, думал Владимир. И по части грамоты дураки не приведи Господь каки. Накарябали, настругали детвы полным-полную под завязку хату, будто ребятежь у них, что мокрицы от сырости разводятся. Стемнело. Сами, зволь радоваться, на ликбез, и ребятню позамунторили той школой. На двоих одишеньки сапожики, на пятерых одна шапчонка — а учатся все!

А этот, Серега, коломенская верста с долгими, неудальми, как грабли, ручищами, несет попереди себя и не знает, куда их и деть... этот так полных три класса отбайбачил! И привычка — видать, в школе подучили, где ж еще такому научишься? — идет, идет да и станет столбом посереде улицы, задумается, как осел перед порожними яслями; тс-с-с, не мешайте прохвессору думу думать... Что ничего — малый ладен ростом, а так плетень плетнем, не цопкай, не хваткай, не ловкай в делах при земле. Бабы пытаются раз Горбылиху, на кого погонишь Серегу учиться, а она руками картинки разводит, на что ж его и как его учить, знать не знаю, ведать не ведаю, а надо. Видали?!.. А на что ж там только и живут? Пустой двор небом покрыт, полем огорожен.

Да хоть сто классов кончай и дуракуй потом всю жизнь до самого до заступа, мне-то что с того, думал Владимир, только какого огня этот грамотник, этот дармоглот, чирей те во весь бок, топчет пятки Польке моей? Громом и молнией не отшибешь!

И припоминает Долгов, припоминает решительно все, как дело не дело, а всякую субботу-воскресенье Серега с сеструхой Проськой, Полькиной товаркой, вергелись у него, у Владимира, в доме. Конечно, чего уж тут гадать, где коза во дворе, так там козел без зова в гостях. И только дай добраться до огорода, так он, — а чтоб его черти облили горячим дегтем! — так пополет капустку... И Полька творит там такое, что и в борщ не крышуть. Это уже нож мне острый. Затягивает все паутиной, таит от родного батьки. Когда ни спроси, куда это ты убралась, как на кулички, так ответ раз по разу один — Проську жду. «А Проська вона какая!» — с сердцем буркнул Владимир, увидав поверх плетня Серегу, промелькнул из хаты за сарай с ведром помоев...

— Так шо мы тут поделываем? — нарочито вяло спросил отец, подходя к Поле.

Пристально приглядывается он к дочери, будто впервые так близко, так хорошо видит ее, и ловит себя на мысли, что дочка, которую он все считал ребенком, далеке ой уже не малеха: на голову выше батьки, широко, ловка в кости, крепка, туга телом; какая работяга в чужой уйдет дом, да не приведи, Господь, в горбылевскую курюшку. Не-е, нашим там нечего делать, твердил отцов взгляд, и она читала именно это, как полагал Володьша, а оттого и покраснела вконец — спекла рака, но ответить ответила примято:

— Шо вы туточки делаете, я не знаю, а я... — опустила глаза на корыто, на свои руки, не переставая полоскать.

Умей она угадывать отцовы хотения, из этого вышел бы прескверной пасьянишко, поскольку беспокойство за нее было порядочно выгрязнено расчетом доходного замужества: умри, а непременно чтоб за богатика из прочного семейства, пускай даже за нелюба, да за деньжистого. Денежки не Бог, а пол-Бога есть! Деньги — крылья!

Владимир отмеривал мерку по себе. Его не спрашивали, нравится или не нравится ему его будущая женка, без спросу подпихнули под венец, на том и весь сказ; а чего же он станет чичкаться, кто тебе по сердцу, за кого б пошла, а за кого

и подумала; не-е, таковой канители Володыша не попустит и коль выдаст Польку, так на ах, только за такого, что не в стыд будет ни перед старыми людьми, ни перед Богом самим.

По ночам, мучаясь бессонницей в своем *черном колодце*, Волик маятно перебирал всех собачанских хлопцев, и ни один ему не подходил: тот голяк, нашему козырю не под масть, а тот и навосе в грамоту лезет, еще хуже, последнее то дело... Все чаще натыкался он на горбылевского попрыгуна, кто все толокся на видах — по надежде коник копытом бил! — и, кажется, Полькино серденько не в равнодушности к нему, что и тревожило и страшило Владимира. Ну на кой лях пятнать дочку ницетой этого комсомоляхи-грамотея? Не-е... Сам христарадничай, а мы тебе не компания!

Владимир собирался с духом сказать ей про это сегодня да завтра, сегодня да завтра, а парубок не промах, как что — тут как штык. Покуда не запела про горбылевских сватов, надо разом отхватить эту петлю...

Но все то, висевшее на кончике языка, упало в небытие без слов, без единого звука: отец сконфузился своего же умысла. Ну что еще за самосуд заваривать у криницы, дочка ж, не кошка какая заблудная, и на миру ломиться в живую душу с кулаками, пускай и родительскими, никак не резон, а потому наместо внезапной кары он, ослабившись, поздоровался уважительно, как с настоящей прачкой:

— Беленько тебе, доча!.. Вода холодит?

— А кто ее грел, тату? Руки лубянеють³...

— Ну раз такой макар выпадает, кидай все то хозяйство, мать дополоще. Пошли в хату.

— Да я уже...

— Ит ты, не упрямяся. Не гни все под свой ноготок. Идем-ну. Дило!

— Якэ щэ дило?

— Дома искажу. Не среди ж хутора цынбалы разводить.

Переступил отец с ноги на ногу, помялся и поплелся обратно к дому по старой гладкой, хоть боком катись, тропинке, вертлявой, узкой, как девичья ладонишка. Поля уже на бегу вытерла руки о низ платья, глянула назад через плечо на холсты в корыте, нагоняя отца.

Дома отец усадил за стол Полю напротив себя; всякому делу он придавал ту хозяйскую основательность, которая велась в доме испокон века.

— Вот оно шо, доча... Предстоит тебе дорога в Новую Криушу. У свояченицы Олены поспытаешь, а сколько мер гирьки она могла б нам дать наперехват до повины. Так-таки сложи, доце, моими словами... А то може статья, не хваты нам на сев, не скисли бы при печальном интересе. А можь, и без нее сольем концы, так запас не оторвет карманы. Найдется шо — завтре ж в вечер я и сгоняю к ней на бричке... Ну шо его ще?..

— Да вроде всэ ясно.

Поля встала. Отец жестом велел сесть.

— Ну ты спогоди. Попередь батьки не суйся в петельку... Будь там поприветней. А то она мамзелка с большими бзыками. Отночуешь у нее, взавтре утречком в обрат додому. А зараз поеешь да и поняй с Богом... Мать, а мать! — подвысил Владимир голос, обращаясь к жене, которая толклась с чугунками у печи. — Чем ты нас подкормишь?

— Невжель у нас нечего кинуть на зубок да заморить червячка? — с укором сказала Сашоня, уставившись кулаками в широкие бока.

— Не заморити... Его накормить треба як след.

³ Руки лубянеють — костенеют, стынут.

— Я зараз, зараз... А на дорожку не грех взять с пяток яиц с собою. Патришество — така даль, полных девять верст! Не до лозинок за катухом доскочить... А яйца и готовы, курчатам наварила цельный чугуун.

При виде чугуна с яйцами Егорка весь аж затрясся.

— Нянь! — Егорка звал Полю няней, знал, кто его вынянчил. — Нянь! Солнушко! Солнушко мне! Солнушко!

— Завтра Боженька подаст.

— Разве ты не бачишь, шо ей не до тебя? — осаживает Егорку отец. — Отойди... Отхлынь от греха. Не дергай за нервы... Ты у меня шо, ремня просишь иля чего? Так за мной не прокиснет... И жаль ремня, а треба погладить дурачика, скоро подживешься воды на кашу, — мягко смеется отец, наблюдая, как Егорка, затолкав в рот целый желток, потешно ловчит разом его проглотить, поводя и вытягивая тонкую шею то в одну, то в другую сторону. — Хоть за работу не хвалить, зато за еду не корять!.. Ай да Ягор! Ай да Ягор!

3

*Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет;
В лице огонь, в глазах туман...*

Дело сказалось за все просто, оттого и вскорую решенное; удачливая Поля посмотрела в окно на высоко еще стоявшее над вечерней стороной солнце и у нее мелькнуло: а чего это я буду тетушкины перины мять, я ж завидно поспею домой! Девушка встала с лавки, поправила на себе розовую юбку и такую же розовую кофточку, застегнула ее на верхние пуговицы. Повязала белый легкий шарфик.

— Дитятко! — вскричала тетушка, горько всплеснув руками. — Что это за сборы, обдери тебе пятки?! Куда? На ночь-то?! Иль ты месту не рада? Иль ты к чужим пришшла?! Иль ты не в казаках живешь?!

Не сказать, как обиделась тетушка; она причитала, выговаривала и жаловалась сразу, в ее голосе все это клокотало, плакало, твердя про свычаи-обычаи, которыми славились-держались все поколения казачьих потомков в округе; хотя и никакие они уже не казаки, а преобыкновенные скотари да хлебопашцы, однако навеличивали они себя по-прежнему казаками, а раз так, так свято и чти гостеприимство, ничуть не приулавшее со времен Сечи, пренебречь которым почиталось невозможным грехом, кощунством над всяким домом; в неискренности тетушку никак нельзя было заподозрить; с причитаниями, с попреками носилась она вокруг огорошенной и вмиг присмирившей Поли, жестикулируя невыразимо энергично коротенькими ручонками.

В этой старушке все было мало, хило, в чем только и душа жила. Ростом она не выскочила, телом Бог тоже обделил; источилась за жизнь, в нитку извелась, и была она так худа, так мелка, что, не видя ее в лицо, примешь за двенадцатилетнюю от роду болезненную страдаличку. Бледное лицо ее было не просторней кулака, иссечено глубокими частыми морщинами. Тонкий, острый, длинный нос несколько искривлен; причину домашние находили в том, что тетушка, сморкаясь, весьма недружественно, весьма энергичически хваталась за нос всей пятерней, с превеликим усердием и ожесточением оттягивая его на сторону.

Зато глаза...

Непостижимо, как могли на этом мертвом отжилом лице молодо сиять эти глаза. Боже правый, это были как будто еще ничего тяжкого не видевшие глаза, смотрели в мир доверчиво, светло, лучисто. Глаза — это и все богатство тетушки, ко-

в такое ясное видел всяк, чувствовал всяк, которому покорялся всяк, — столько в них жило доброты, чистосердечия, участия; а вместе с тем в них толклась и пропасть какой-то необъяснимой боязни, сокрушившей сейчас и Полю, отчего девушка, потупившись в смущении, бесшумно опустила на краешек лавки у окна.

— Да не к окну, не к окну, дитятко! — весело защебетала тетушка. — Ты, дитятко, садись вот сюда! Тут, дитятко, сидит только сам!

Старуха дернула от стола мягкий, красного вельвета, стул; с краев верха высокой резной спинки навстречу летели друг другу два деревянных всадника с копыями наготове. На этом стуле сидел всегда тетушкин муж.

— Ты не косись... Ты у нас гость, а гость невольник, где посадят, там и сиди. Это хозяин, что чирей, где захочет, там и сядет.

На столе перед Полей явилась порядочная миска богатырского борща; он был так густ, что в нем стояла ложка; потом припожаловала сытая тяжелая курочка, возвысившись горкой на деревянной тарелке.

— У нас с им, — последовало пояснение, — полное равное правие, обдери те пятки. Курку ему, курку мне, да и по весу гран в гран... Я сама на руках вешала... Да ты перед борщом не робей... Я не в счет, а самого-то нетути. Обозом с мужиками повез вчера картохи в Богучар. Дожди у нас в прошлом лете не то что часто, а как край надо, так и шумели. Картохи уродились — грех обижаться. Ума теперь не составим, куда его ото все и определить... Погнал вот на разведку первую арбу. Под метелку свезем, положи лише базарик необидную, способную ценушку... А картохи-охи наши стóят дорогого! Там таки хороши! С два кулака каждая! Твердые, будто каменья, все как перемытые...

Тетушка метнулась в сени; внесла литровую банку киселя, посмотрела его на свет.

— Тут за один цвет, — довольно так сказала, — можно денежку брать, а за вкус не поручусь... Вот тебе орешек наших... С киселем...

— Тетя! За глаза всего наверхосытку! Да куда орешки еще?..

— А ты с дороги хорошенько поищи всему мѣста. Лакомый кусочек да не найдет себе кучочек?.. А за борщ ставлю пять. Молодчинка, весь учистила, взавтре будет ведро.

Залюбовалась тетушка Полей, сладко подумала:

«Сам Володейка с ржавый наперсточек. А дочка оха и ловка-а... Не какая там Аксютка толстопятая... Нарядна личиком, красава... Велик праздник глазу всякому, зависть и сухота глазу молодому... Майская березка...»

Уже вечером, при огня, когда по второму разу были переверяны все собачанские и криушанские вороха новостей, тетушка снова подкатилась к гирьке.

— Так ты не забудешь? Передай батьке, десять мер-пудовок его, пускай еде забирае, коли не лень. Я не продаю, не меняю... С новины вернет. Ухватила? А под верность запиши...

Тетушка взяла с подоконника и подала клок бумаги, химический карандаш-обглодыш с палец.

Поля тыкнула карандашом в язык, налегла на стол и тяжело уцелилась писать во весь клочок. Будь он впятеро обширней, она б и тогда, наверное, писала б во весь лист. Разом прошиб ее пот, задрожала рука; карандаш вовсе не слушался и все норовил скользом вывернуться из употелых пальцев.

— Иль ты забольшь Бога знаешь, что сопишь, обдери те пятки? — со смешком уколола тетушка.

Единичка у Поленьки совсем упала навзничь, а ноль, разбежавшись ее поднять, сильно наклонился вперед, не удержался, не устоял и теперь тоже лежал на крутом своем боку.

— А ну-к, покажь, над чем ты там так геройски сопела... Ба-а! Да он у тебя что, пляшут аль с мамаевского попоища возвращаются? Ты что ж, не можешь толком написать?

— Цэ, тетя, и так гарно... Я к грамоте не умею...

— А разь ты в школу не бегала?

— Як же... По чернотропу пошла у первинный класс, по первому по снегу и кончила.

— Ум расступается... Не пойму... Ты чего так быстро разделалась с учебой, как тот повар с картошкой?

— А шо тут не понять? В осень мама начали прясти, — по обычаю, об отце-матери да и вообще о старших Поля всегда говорила во множестве, что было признаком особого почитания, — мама сели ото за пряжу, а меня и пристегни на все пуговики к Петру в няньки, не на кого было кинуть малого. Попряли... Опять не до школы, ткать треба. А там весна... закружились — огороды, поле... Так там и без учебы дилов под завязку.

— Да-а... За таковскую несвязицу я Володяре спасибушка не поднесу. Палкой бы ломанула! Я и не знала, что он тебя до школы не допустил.

Тетушка, посматривая то на нее, то на молодой месяц за окном, положила на листок, на котором Поленька писала, десять пшеничных зерен, ядреных, крупных, не с ноготь ли на мизинце, тщательно сложила бумажку, отдала девушке.

— Вот эту тарабарскую грамотку свою с зернами снеси батьке. Пускай поглядит, что у нас за гирька. И скажи, у недобрых людей землю и дождь обходит. А пускай раскумекает, к чему это я так подпустила.

Поленька спрятала бумажку в карман кофты, смела сор на совок и в печь.

— Ну шо, погано я мету? — Поленька ждала похвалы. — Скажете, як курочка лапкой?

— Хуже, — коротко резнула тетушка. — Неспособная ты совсем в этом деле... Ни в дудочку, ни в сопилочку. А *это* каждая девка должна знать!

— Шо это? Треба не в совок да в печь, а мести через порог на двор?

Сердито, скорее для видимости, тетушка помолчала и продолжала выровненным, спокойным голосом, не лишенным оттенка снисходительности:

— В твои лета девчачки втихомолку, чтоб никто не видал, метут сор со двора в хату, заматают в передний угол — там он никакому другому глазу в недоступности, — метут и шепчут: «Гоню я в избу своих молодцов, не воров, наезжайте ко мне, женихи, с чужих с дворов...» Все учи, учи тебя!

Поленька хотела что-то сказать, но тетушка жестом велела не перебивать ее.

— А не позывает маяться с сором, подгляди, как наивится молодой месяцок вот как сегодня, — старуха показала в окошко на стоявший вниз острыми рожами месяц, готовый вот-вот спрятаться за меловую Лысую горку. — Мда-а, млад месяц дома не сидит... Так, значит, подгляди да и завертись на правой на ноге и тверди: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя».

Подвеселела девушка, в мыслях улыбнулась и спросила тоном, дающим тетушке полагать, что всем этим наставлениям нет цены:

— А як же кавалерики услышать зов?

— Сперва заслышит *Он*. А уже *Он* в уши им положит твои слова. А *Он* есть! Слушает нас, подмогает нам!.. Даве утром мой уваялся еще до железных петухов, до звона к заутрене. Думаю, как же я буду одна, я боюсь ночью одна, я даже при самом бою по ночам просыпаться и лежать с открытыми лупалками, а тут две ночи кряду кукуй одинаркою, я и запросила Господа Бога послать мне доброго человека; и вот набежала ты, ты не своей волькой, не сама, тебя *Он* прислал. Так что не ленись, мети, как я подучила, не ленись, поджидай млад месяц и проси, проси женишка. *Он* добрый, *Он* пошлет тебе.

— Уже прислал...

Удивленно и вместе с тем недовольно хмыкнула тетушка.

— Да того ль, кого зуделось?

— Аха... Высокий... на личность взрачный... Лицеватый... Наравится...

— Дитятко! Ну у тебя головка чиста, не во гнев будь сказано, как стеколушко!

Видали новости в сапожиках — наравится! Да ты ж не на личность гляди. Можь, с личика и яичко, да внутрих болтун!.. Какое у него рукомесло?

— А покида никаковского. Пастух. Вот, говорит, кончу анститут на агронома, там и распишемся. Я обещалась ждать.

— Эха ты, тетерка с носом... Метко, девонька, стреляешь: в чисто поле, как в копеечку... Запомни, этот не твой. Покуль он, обдери те пятки, будет шастать по тем анституткам, он такую ж разученую, как и сам, выглядит себе да и повиснет на ней, как лукавый на сухой вербе.

— Он божился... не можэ без меня...

— Уха-а!.. Все козлы одно и то ж блеют! Не мог ба, давно-о б окошел. А то с приплясом, небось, вьется. Что поют твои батько с матерью?

— Я ничего им не говорила про него. Мама потянут мою руку, доведись чему быть. А тато бачить его покойно не можуть... Там меж ними... як черти горох делят... Такие промж ними контрики.

— Видала, обдери пятки! Тут я за Володюню свой подам голос. Раз твой замашистый агрономка и на дух не нужон батьке, стал быть, тут непотребинка какая да и кукует. Ты кладешь парубку почтенную цену за рост, за внешность. А батька с другой каланчи дозор ведет — какойский этот твой красик работун, какой из него вылупится хозяйко, иль, может, это ни то ни се, ни два, ни полтора, ни рыба, ни мясо и ни холодец.

Замуж выбежать не галушку замесить... Перед тобой он сейчас, как погляжу на тебя, может, на пальчиках, чуток на ладонки не возложит. Да ты все ж не спеш. Твои годы не уроды... Ох, женихи товаришка те-емнай. Поскобли, какой еще муженек скажется... Кабы то наверно знать, до точности...

Ловившая носом окуней тетушка была тертый калач по части сватовства. Уже за полночь. Уже пробовали голоса вторые петухи; давно задули лампу, лежали, а тетушка — ну и свербеж! — все трещала, трещала, как битюцкий барабан.

Девушка не могла понять из всей этой бесконечной нуди, ну почему так мгновенно, в один вечер, тетушка твердо вырешила, что Сергей ей вовсе не пара, вовсе плох? Ну откуда это видно?

Долговы жили с Горбылевыми окно в окно, и каждое утро, просыпаясь, Поленька бежала к окну и знала, что ее ждут у другого окна и в снег, и в дождь, и в солнце; заметив ее, Сергей принимался неистово махать руками. Привет! Привет! Наше вам с косточкой!..

В ответ Поленька тоже махала и со сна чисто улыбалась. Ее глаза, ждущие чуда, горели восторгом. Переглядушки разбегались иногда на целое утро. Никто из родителей не противился. Но в прошлый май отец заказал эти утренние радости, рассудив про себя так: «Чей бы бычок ни прыгал, а телушка наша... Прибытку нам аникакого...»

Поленька не защищала Сергея перед тетушкой, и на то были причины. Ну, во-первых, возражать старшим почиталось в их роду святотатством; обычай этот жил в доме испокон веку.

А главное, что сильно смутило самое Поленьку, многое из того, что она почитала в своем суженом-ряженом за добродетель, тетушка, напротив, расхаивала, пушила в пух. Да Поленьке и самой не нравилось, что в последнее время Сергей все бился завести ее в уголок куда почерней, где б они были без посторонних глаз, все подгадывал так, что они оставались совсем одни, и тогда он накатывался мило-

вать, ласкать ее, против чего она востала, однако не настолько рьяно, чтоб вовсе отвадить парня. Она не находила слов этим отношениям, а вот тетушка доискалась: коняжится, блажит, похабничает.

Запрокинув руки за голову, Поленька лежала в кровати и не могла разобраться, что за каша кипела в ее голове. Угнетало чувство раздвоенности, досады. Горячая голова болела от неожиданных открытий; больше всего давило, тяготило то, что она считала в своих отношениях с Сергеем совершенно решенным раз и навсегда, вдруг почему-то повернулось путаницей, бестолковщиной, ералашем.

Уже как легли, тетушка еще два пробовала почесать зубки. Но Поля не отвечала, молчала; тетушка поднялась на локоть, заглянула ей в лицо; Поля старательно зажмурилась, жалобно всхрипнула.

— Спи-ит? — удивилась тетушка и больше не лезла с перетолками.

Рано, до света, Полю разбудила тетушка.

— Е да ты и спишь, ободай тебя коршун! Упала и пропала... Кипятком залей — не прокинешься!

— А вы чего потемну вскочили?

— Какой там потемну! Гли-ко в окно!

— Только взялось сереть...

— Ну, девка, может, ты со сна мне еще порасскажешь, где у коровы грудь?

Тетушка беззлобно рассмеялась своей шутке и, отсмеявшись, подхлестнула:

— Вставай, Вставайка! А то службу проспийшь.

Было еще темно; с утренней, с восточной, стороны едва подбеливало, но со всех углов, со всех проулков с муравьиной торопливостью сливался народ к Преображенской православной церкви.

В церкви негде было пятку поставить. Тетушку отжали от Поли; вскоре Поля, усердно подпираемая сзади проспавшими, оказалась прилепнутой к оградке перед клиросом.

Необычайно ярко горели повсюду свечи; все вокруг торжественно пело, молилось, кланялось. Как-то смиренно, заведенно молилась Поля, по временам придавленно вмельк покашывая из-под низкого шалашика косынки на певчих. Высмелев, смотрела уже ровней, длинней, натвердо убедившись, что никто из них не замечал, не видел ее.

В хоре были старики, старухи, были и дети, такие как Петро, уряженные, чистенькие, выделялись высокими голосами.

Мало-помалу служба наскучила ей.

Она скользом, уныло осматривала глазами клиросников; сраженный взор присох к белокурому веснушчатому парубку лет, может, девятнадцати, не старше. Видом шел он совсем за подростка, зато держался, держался эвава каким орлушкой! Дорогой темный шерстяной костюм ладно облегал стройный стан; толсто повязанный короткий сине-зеленый галстук походил на кленовый лист, до поры в непогоду сорванный с дерева и прижатый ветром к кремовому атласу рубашки на груди.

«Какой молодой, а уже в певчих...» — в восхищении думала Поля и не уводила с него глаза, даже когда припадала на колени; припадая, она лишь на миг отрывалась, лбом трогала холод пола и тут же стремительно поднималась, отчего-то боясь не увидеть его снова, но — заставляла его на месте и мимо воли своей чему-то светло улыбалась.

Он заметил, выхватил из людской тесноты этот безотрывный светоносный взгляд, и у него из глаз печальных брызнула звонкая, озорная радость; теперь он тоже не забирал с нее своих глаз, пел и улыбался глазами, и трудно было понять,

чему он улыбался, то ли своей незнакомице, то ли восходящему солнцу, что било сквозь высокие окна прямо ему в лицо и заставляло щуриться.

Крестясь, Поля из-за руки нарочно улыбнулась парню. Он, наверное, понял, что эта улыбка именно его, что он точный ее адрес, а потому, привстав на цыпочки в щеголеватых высоких хромовых сапогах в рант, улыбнулся ей глаза в глаза и коротко подморгнул.

Поля покраснела, со стыда тиснулась вправо за дебелую старуху; но, странное дело, хор все так же пел, своим порядком все так же шла служба, и никто не выводил ее. Успокоившись, она подумала:

«А почему не посмотреть?.. А вдруг он — еще?.. А я и не увижу?.. Он может воссерчать. А мне это разве в руку? А мне это разве в желание?»

4

*Не родись в сорочке,
Не родись талантлив —
Родись терпеливым
И на все готовым.*

Еще смалу Никита вместе со своей тучной тетужкой Неонилой пел в церковном хоре. Отец, Борис Андреевич Долгов, по-уличному Голово́к или дед Бойка, мелкокалиберный, худосочный, будто отжатый, высушенный долгими бедами старичок с ноготок (про таких говорят, собран из трех лучинок, отчего и ветром качает), эта божья коровка с посохом, тихоня, бессловесник, не замутивший и разу воды, этот до смерти суматошный хлопотун — все мечется, мечется, легкий на ногу, словно кто ему в сапожики горячих углей сыпанул, завтра на охоту, а он сегодня норовит взвести курки — этот до последней крайности набожный, богобоязненный и вообще от природы пугливый, опасливый и в то же время хитроватый, непокладистый, ершистый причудник себе на уме (и стар, да петух, на сиду ну бес падок) принимал певческую затею сына до края враждебно, в штыки.

Всякий раз, как недовольная им тетка Неонила вводила по Ниструговке мальчика за руку к заутрене или к вечерне, отец, ворчал вслед: «Эк, черт их понес, не подмазавши колес».

Вот баба с мальцом пропали за соседским плетнем; чуть выждав, он влезал в тулуп, подвязывался малиновым кушаком, не рассыпаться чтоб, коль не в час на гололедке кувыркнется, и, зная себе красную цену, — стар козел, да крепки рога! — брал в сенях из темного угла посох, упиравшийся в потолок, и с сановитостью аристократической особы направлял стопы, шествовал к церкви, где и появлялся, ровно тебе из земли вырастал, как раз, чик-в-чик к началу службы. Всю службу Борис Андреевич чаще стоял за спинами в проходе: миру там всегда было тучи.

— Па! А че вы не проходите наперед? — спросил однажды Никиша. — Никогда вас не видать. Иль вам не занятно меня послушать?

— Поешь ты, Никитарчик, хорошо. А перестанешь — лучше.

— Ну, па-а, серьезно ежли...

— Можно и серьезно. Мне с тобой, Никиш, чистые чудеса в решете: дыр много, а высокочить негде... Вот ты на что, думаешь, Господь дал один язык? Меньша говори... А два уха зачем? Больша слухай... Я распрекрасно слышу, как ты с клироса аллилуйю тянешь. Да, да, не кривись. Правда моя — масло, вся наверху!.. Откроюсь, от твоего песняка наразлад у меня все в нутре выстывая, холонет. Я не смею дохнуть, робею продираться напередки и того с умыслом обретаюсь на задах все по твоей милости, соловушка. Знамо, елка с палкой, соловей птичка невелич-

ка, а запоеет, так лес дрожит... Не попусти, Боже, моему певуну ослабить мои белые седины...

— Невжеле, па, я так худо пою? А тетя не нахвалятся, говорят всем: «Мал соловей, да голос велик!» Намедни посля службы сам батюшка потрепали по щеке, тоже сказали: «Соловей поет — мир божий тешит».

— Куда как славно тешит! — Поползновение к ядовитой насмешке скользнуло по крохотному, с кулачок, иссеченному невзгодами лицу старика, придав ему редкотный какой-то оттенок смелости. — У стекольщика алмаз и то с голосом. А ты свой проспал, как вседержитель раздавал... В радости глазу, видом ты соколок, а... а голосом... во-ро-на... Чего это батюшка не въедет в толк, что непутевым ты криком своим — кадык не велик, а реву не оберешься — полприхода распужал? Как погляжу я, в достославную церковку нашу с голосниками все менее правит миру...

Мальчик и впрямь чувствует себя виноватым. Слезы закипают на глазах.

— Ну-ну... Знаю, голосистее сверчка. А слезу держи, не разводи сыр. И так мокропогодица.

— Я не заплачу, па. Ну только узвольте там петь...

— И чего липнуть к тому пенью, чисто лукавец овод к коню?.. Ну чего вцепился в то пенье, как хохол в сало? Иль по сердцу?

— Угу...

— Это не внове. У кого голосу слыхом не слыхано, тот и петь охоч. Да ну ладно... Куда наше ни шло, поняй... Раз кортит, пой ногами, пляши голосом!..

С той поры пять раз улетали и возвращались грачи; пять раз без огня полыхали в лесах пожары осени, и снова по весне ветер разбивал почки на деревьях; пять раз с холода одевалась в лед речка Криюша перед двором и сбрасывала в апрель синий хрусталь одежд; пять раз засыпала усталая земля, согревшись под высоким одеялом воронежских снегов; в свой час, к сроку гром будил земелюшку, и плодотворные вешние дожди, никогда не лишние, хлопотливо омывали ее.

Тринадцатый май жил Никиша.

Под воскресенье, боясь проспать заутреню, хотя и разу не просыпал, мальчик лег с сумерками, безо времени, но во всю-то полную ночь и не уснул ни на волос, прокидался с боку на бок.

Ясная круторогая луна все смотрелась в окно, разостлав по полу серебристую дорожку до самой печи; дорожка эта, вытягиваясь, потихоньку уходила вбок. В молодом лозняке не смолкал до зари соловей, выпевая погожий день.

Чем свет Никита был на ногах. Все еще спали. Неудобно было умываться под рукомошкой, по озорной привычке толкая его сосок лбом или носом. Весь дом до поры всполошишь.

Мальчик на цыпочках вышел во двор.

По бледно-синему льду неба к алому горизонту золотое корытце луны.

Мягко шлепая босыми ногами по тесному желобку тропинки, убежавшей к колenu речки, названной за частые извивы Криюшей, Никиша, казалось, слышал, явственно слышал, как в этой чуткой кафедральной тишине по обеим сторонам от тропинки росла трава под обильной, тяжелой росой.

Слезы — роса: взойдет солнышко, обсушит. Против вчерашнего оно поднимется сегодня пораньше. Солнышко восходит — начальниковых часов не спрашивает и на всех ровно светит...

В это теплое тихое утро просветленный, счастливый мальчик, видевший уже себя в хоре на клиросе, сделал открытие: оглобля вон заросла травой, ворона стоя спрячется; уматерели, подкрупнели листочки у травы, набавилось зеленого в уборе деревьев. Весна леса уряжала, в гости лето поджидала...

«А что, разлететься да бултых с берега головкой?..»

Подумал и вздохнул.

Рано еще. Отец твердит, начал распускаться лесной дуб, можешь бежать купаться, встеплела вода. У матери рогатки похитрей: на выстрел не подходи к воде, откуда лист на дубу не развернется вовсе.

Совсем скоро подступит снова желанная та пора...

Никиша сорвал с ветки две холодные почки; катая комочки на ладони, заметил, что со вчерашнего утра — делал то же самое! — почки стали округлей, пушистей.

Обещая погоду, над речкой дремал туман, сосед солнца.

Холоднее льда показалась вода, но мальчик, ухая, все же ополоснулся до пояса и заторопился блаженно растирать расшитым петухами рушником руки, грудь.

Откуда-то из тумана выпнул с вилами отец.

— Ты че это спозаранок вскок на копытца? С курами лег, с петухами встал...

Спать оно, конечно, не молотить, не болит спина... А подумать, так мимо дела кидаю слова. Разь только беспечальнику сон сладок...

Старик положил вилы на землю, присел на держак. Гордовато поглядывая, как растирается сын, сказал с нарочитой суровостью:

— Иле ты, хлопче, захотел до кровей? И так маком горишь!.. Будет влюбе тереть. Иди лучше сядь на вилочку рядком...

— Мне, па, не до посидок...

Зорким взглядом вцепился старик в Никишу.

— А до чего тебе? Далече налаживаешься?

— К заутрене...

Отец плотно сомкнул губы, подержал на сыне долгий внимательный взгляд и в раздумье повел:

— Ме-етко попал пальцем в небушко... Так давай, разумник, наковыривай дальшь... Чего молчишь? Иль в молчанку станешь играть? А?.. Тогда я, елка с палкой, искажу. Хорошо песняка драть пообедавши!

— Я, па, беспременно поем, как иди...

— Вот самое то я и подступаюсь обкашлять... Да ты сядешь иль тебе надо особое прошение? Не желаешь рядома с родителем, так по крайности садись на чем стоишь, ишшо и ножки вытяти!

Никиша покрыл острые красные плечики в веснушках рушником, как платком, и, припиная его к груди, сел на вилы локоть в локоть с отцом.

По привычке возложил отец руки на колени. Пожалуй, впервые так близко увидел мальчик отцовы руки, впервые рассмотрел, что пальцы, короткие, куцاپые, похожие на крючья, изуродованы, побывав и под молотком, и в щипцах. Тяжелые, кривые от надсадной работы руки пахли со вчерашнего — вчера отец пахал — ботом, землей.

— В роду у нас сытая беленькая ручка в холе за позор почитается, — в раздумчивости отпускал отец слова, безучастно уставившись в свежие мозоли на своих широких, с лопату, ладонях. — Чьи это руки? Не писарчука... Писарчук бровью водит, локтем пишет, откуле что и берется. Да писали писаки, читали собаки... У деда у моего, у родителя, помню, были такие ж черные руки, руки пашца... Всяк держался за сошеньку, за кривую золотую ноженьку. Худо-бедно, а сохой все наши стояли, и земля, божья ладонь, кормила... Кормить-то кормила, да нивка пот помнила. Не столь роса с неба, сколь пот с лица хорошил землю. Понятно, перо легша сохи, да в роду так уж велось, раз грамотей, то не пахотник, потому и нечеловек. И все ж наши самоволом, потиху правили к грамотешке. Вон дед в глазу не знал перо. Пуще смерточки боялся пера мой родитель. В кои веки зайвится становой пристав иле ишшо какой крючок из волости по какому зряшному делу, так родитель, созревшие от невозможных трудов, черканет на нужной бумажонке чер-

точку да в сторону. Я ж сканул эвона куда! Наловчился ту черточку переречкивать впоперек, вот тебе и мой крест! А ты и меня выпереди... Конечно, с листовала до новой травы звонил в школке в лапоть... Жалко пустого часу... Ну да ладно. Зато ты не одну нашу фамилию, пел урядник, в один присест в силах срисовать. Видал на заборе твои художества. Не бычись... Не корю... Спасибо кладу... Спасибочко! Уха и распотешил гордыньку мою!

— Я, па, сотру...

— Сотрешь — полосну дубцом по окаянной спине. Иля ты с дурцой? Я те сотру... Не к тому я... не велю стирать. На видах у всейного мира рука кровного дятля! Ка-а-а ты не возгордиться?! Пускай, елка с палкой, глядят да облизываются!.. Ругать не возругаю, скажи только, как ровня ровне, прямо с козыря матючок крепкий присадила? А? Из интереса пытаю. Хоть знать, чему радуюсь.

— Не руготня вовсе там... Строчка из песни «Не осенний мелкий дождичек»...

— Оно можно и про дождичек, — соглашается отец, и его лицо заметно скучнеет. — Ежель что, — ободряется он, — так не бойсе, с матерком что там и пусти в тыщи в своих заборных писаниях, только знай, не дозволю я яблочку далече закатиться от яблоньки. Что тебе батюшка да Неонилка ни поют, ты на веру не бери. Все то вешний ледок. Соловья из тебя не выждать, голос тебе не кормилец, а так, потеха одна досужая. В твои лета я косил, волов водил на пахоте, ездил в ночное, вил веревки... Весна живо-два слетает с земли. Красный денечек за золотой идет. Серезжки лопаются у березы, сеять час аж кричит. Ранний посев к позднему в амбар не ходит. К лешему! Никакой сени заутрени! С братанами Иваном да Мишакой — против тебя они вдвое побогаче годами — поедешь допахивать Козий клин.

— Па, а хор? — прошептал Никиша пересохшими губами. — Хочу...

— Мило волку теля, да где ж его взять? Сдался тебе тот хор!

— Что они подумают?

— Подумают, соловейка ячменным колоском подавился⁴. Круглыми годами драл козла. Будет с тебя. Отдохни.

— Па, я хочу...

— Эха-а, что эт ишло за мода — хочу? Сын отцу не воевода! И свою блажь припречь куда наподальшь... А потом, я ль тебе рот зашиваю? Пой, за делом *пускай петуха* на радость себе. Вышел в поле, пускай голосину по ветру. Оно хоть и толку нету, да далече несет.

Мальчик обмяк. Как же так? Неужели можно вот так походя разбить все, что составляло суть его жизни? Виделась ему эта суть вроде смутной, призрачной пирамиды, в основании которой было величавое пение хора под соборными сводами с голосниками, пение, при стройных, мощных звуках которого, казалось, расступались каменные своды, отчего становилось как-то просторней, светлей, и невидимая могучая сила повергала на колени творящую молитвы толпу; в этом поведении мальчик явственно слышал власть и своего голоса, чувствовал себя властелином этой покорной массы во всем черном, клавшей поклоны у его ног. Не ради ли этих высоких минут он жил? И вдруг все, что пленило, тревожило душу, звало, что наполняло святым смыслом его будни, вдруг все это внезапно рухнуло, вывалилось из жизни, как голый птенец из гнезда? Неужели все пропало? Все? Все?..

От сознания своей полной никчемности мальчик заплакал.

— Эвва!.. Новость подкатила на тройке с бубенчиками! Ревя не ревя, а расплох и могучего губит. Поточи, поточи, хлопче, слезки, а как выйдет слезе конец, так задашь конишке овсеца, а я... подхватись-ка с вил, — отец, встав, тронул Никишу за плечо, — а я пойду накидаю на телегу навозу. Навоз, брат, крадет и у Бога да нам дает.

⁴ В пору, когда ячмень заколосится, соловей замолкает, перестает петь до нового мая.

Насыпан с пупком овса в деревянный таз и поставив жеребца, Никиша долго стоял в деннике и разбито смотрел, как в углу муховор-паук насмерть пеленал муху. Муха жужжала, билась как могла, надрывалась отлететь, чего очень желал и мальчик, но прогнать паука не осмелился. Мальчик боялся пауков.

Постепенно тугая паутина укутала всю муху, и муха, выбившись из сил, смолкла.

Весь тот день уже там, в поле, под звенящим, зовущим на пахоту жаворонком, Никиша уныло водил олов и думал о странно погибшей мухе.

Больше Никита не пел с клироса.

Зато донельзя довольный отец теперь не пропускал ни одной службы. Теперь совсем другой коленкор, молился он не на приступках и не в проходе, как бывало прежде, а, бросая на прихожан короткие острые, удовлетворенные взгляды, продираясь сквозь толпу в самый перед; он больше никогда, даже во время чтения особых коленопреклонных молитв, не расставался с палкой своей и оттого, опускаясь на колени, с сухим, глуховатым шуршанием скользил по ней, зажатой в кулачок, жилистой рукой и, держа ею посох у самого низа, у пола, крестился другой, свободной рукой.

Поначалу за неделю, за две под большой какой редкий праздник, а там уже и просто под какое воскресенье батюшка огородными задками правился в условленный сумеречный час в баньку к старику выкупать Никиту. Помолившись на угол, батюшка доставал из потайного кармана теплый штоф водки. Батюшка величивал ее на свой образец: и душегрейка, и чем тебя я огорчила, и продажный разум, и дешевая, и огонь да вода, и пожиже воды, и крякун, и распоясная, и подздошная, и заунывная, и плясовая, и горемычная, и клин в голову, и мир Европы, и пользительная дурь, и что под забор кладет.

Выкуп сводился к тому, что принесенную водку батюшка сам и выглатывал на счет прямо из горлышка (играл горниста), но в присутствии деда, и в этом была вся тонкость.

Осенев штоф крестным знаменем и прошептал: «Под случай случайно случившегося случая его и монаси приемлют», — батюшка по праву старшего прикладывался первым. Дед Бойка исправно считал, веря, что в счете правда не теряется. При счете десять пунктуальный пастырь трудно отрывался от штофа и, деликатненько разгоня белой ладошкой перед собой пьяный дух, снова шептал: «Прости, Господи, душу грешную и все остальное разом, — и протягивал штоф деду. — Теперь ты измерь градус на крепость!»

Ни в жизнь дед не пил ничего сердитее против кваса, однако штоф брал. Скрепив ноги и картинно подперев бок одной рукой, другой деловито и со страхом подносил штоф к губам, запрокидывал голову, но пить не пил, заткнув бутылку свернутым в трубку языком и пуская в нее пузыри.

— Ты часом не тонешь? — в нетерпении наводил справку батюшка, взмахами руки отсчитывая, к слову, проворнее деда и в такт нащелкивая себя оплывшим указательным пальцем по долгой прядке рыжей бороды.

С сосредоточенным, с мученическим выражением на лице Головок согласно мотал головой.

Наконец штоф благополучно возвращался под батюшкину власть и уже досчитать до десятка — для счета и у нас голова на плечах — деду Бойке вовсе никак не выходило: с петровской долгогривый не цацкался. Выкушав хлебную слезу на лоб, то есть до капли, духовник тоскливо пихал штоф в тот же карман, откуда и доставал, и, трижды чиркнув ладонью о ладонь от толстого удовольствия, чистосердечно, как на духу, сознавался уже на подогреве:

— Вот таковского я замесу... На полную посудину нет моих сил смотреть. Сей же момент опрокину в рот.

— Что в рот, то и спиасбочко, — вкрадчивым голоском вторил дед, благоговейно, доверчиво внимательно слушая батюшкину исповедь и, осмелев: — Ты с бородой, да я и сам с усам, — сделал поползновение к отпущению грехов: — Как не охолостить, раз — и эх! — так и просится на грех!

Головок отчаянно тукнул кулачком по бревну в стенке.

— Я, — разбежался в откровениях батюшка, — не употребляю, однако, до той степени, когда поперек глаза пальца не вижу иля чтоб из пяти пальцев не видал ни одного, а один в глазах семерил. Не-е... Я почитаю три степени употребления. С воз-держа... с воз-де-ржанием — это когда крадешься по стенке. С расстановкой, когда двое ведут, а третий ноги переставляет. С расположением, когда лежишь врястяжку. Моей душеньке с расположением угодно-с... Принял змеиную микстурищу и — врястяжечку! Факт, не на миру. А от глаза мирского подаешь где... в родном пепелище... Дело политичное, требует умственного обхождения.

— Во какое вам строгое понятие от Бога дадено! — с завистью младенца восторгался дед, молодея и светясь от радости.

Уходя, батюшка всегда говорил одну и ту же фразу, будто на ней его заело:

— Мир божий да пребудет со всеми вами.

Батюшка прямо не говорил, с какой стати наведывался, дед и без того преотлично знал. Едва проводив гостя за ворота на уже пустую под потемушками позднюю улочку, старик рад-радешенек подсаживался на низкую скамейку к Никите, тачавшему сапоги при желтом свете потрескивавшей керосиновой лампы с надбитым стеклом, с минуту именинником паялился на жениха-сына, лютого до всякой тепер работы.

— Ну что, Борич, попеть кортит?

Никита не отвечал.

Налегая на шило, он всем корпусом резко подавался вперед, только что не упирался светло-русой головой в отцово плечо — Никита сидел на скамейке верхом, — и тогда старик ясно видел, как на самой макушке волосы вздрагивали и разбежались в стороны золотистым георгином.

— Молчунам работешка ра-ада, — уветливо, с мягким сердцем выпевал старик. — Ты уж не корми на меня обиду. Оно, Никиш, счастье с несчастьем в одних санках катаются... За старание жалую... Вышла такая моя родительская воля, елка с палкой. Сходи в воскресенье к заутрене, чего уж там, сходи. Да не проспи мне, слышь!

Только не поймет дед наточно, то ли примерещились ему его выбрыки на службе и поповы «выкупы», то ли въяве все то навертелось...

5

*Если взглянешь, душа,
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем
Пред тобою стою!*

Теперь, когда известно, что за путь выпал Никите к сегодняшней заутрене, под конец которой автор таки успел застать своих героев на прежних местах, просто понять, какой вековой праздник праздновала душа у парня. Праздник был во всем: в каждом взгляде, в каждом звуке, в каждой веснушке; Никите чудилось, праздник вливался ему в душу и из высоких окон яркими солнечными полосами разгорающегося дня.

На Руси не только беда боится одиночества и в одиночку не подсаживается ни в чьи сани, оно и радость в одинарку не живет, не ходит по людям одна. Думал ли

Клиши, что возвращаешься на клирос хотя на миг сведет его с этой девушкой из толпы? Он не знал ни ее имени пока, ни кто она, ни откуда она. Боже правый, да это ли главное? Главное, она здесь, главное, ее можно видеть, можно ласкать взорами, что он и делал; до этой поры он с какой-то безысходной отчаянностью избегал девушек, был с ними всегда замкнутый, напряженный и обязательно пек рака (краснел).

Полю смущал этот прямой и в то же время хитроватый, с прищуром взгляд; однако она не пряталась, не отводила от него свои большие хорошие глаза — и через большие глаза, и через маленькие любовь одинаково быстро входила в сердца. Полю восхищали в парубке его особенность, его исключительность. На возвышенке он был посреди самой выдающейся вперед ее части, как бы в начале клина, разбивал стоявший полукругом хор на два крыла и одновременно собирал воедино и держал эти крыла; ей казалось, он был тот центр, та наибольшая сила, по воле которой все сейчас вершилось тут, под сводами, что именно вокруг него все идет, что единственно им одним все восхищено, как и она. Среди ее сверстников никто у нее не пользовался таким вниманием. Ближе других она знала Горбылева. Но кто такой Горбыль? Голозадый босяк, как говорит батько. А вот про *Него*, думала Поля, набожный батечка ничего такого худого-кислого не посмел бы выворотить.

Служба с песнопеньем, с ладаном, с мольнями шла к концу; и он, и она с тревогой подумывали про то, как встретятся, что скажут друг дружке и как скажут. Может, думал он, выйду, а она в сторону, и прости-прощай все. Она же, напротив, была уверена, что он непременно подойдет к ней сразу после заутрени.

А между тем служба кончилась. Народ выдавливался на улицу, но не уходил. Был воскресный день роздыха. Люди встречали родню, знакомых. Каждому горелось обменяться словом, дело утолковать какое, а может, просто зазвать кого к себе на обед.

На площади перед церковью люди за разговорами лепились в кучки.

Поля поискала глазами тетушку. Тетушка не попадалась.

Друг какая-то неведомая сила поворотила, заломила ей лицо на сторону. С плеча она увидела, как *он* махал ей рукой, будто говоря, ну куда же ты, куда, и быстро-быстро боком протирался в выходе сквозь толпу, стремительно разрезая ее, точно нитка масло. Не добежал до нее шагов пять, бесшабашно кинул:

— Э! Здорово! А ты из какой деревни?

Сказано это было варяжисто-дерзко, совсем в духе прилипчивых криушанских юбочников, внавязку дававших Никите «уроки любви»: «Чем нахрапистее будешь с маняткой, тем надежней. Начнешь голубиться — засмеет и под нижний бюст еще киселька плеснет. Напор, напор и еще раз пан напор — и ты в дамках у мадамы!»

Невесть зачем Никита взял чужой тон и с первых слов своих поймал его фальшь. Густо покраснел, потерялся. Выжал уже негромко, с запинками:

— Так... из... к-ка-кой?..

— Я з города Собацкого! — Она улыбнулась тому, что хуторочек свой возвела в чин города. — Так шо знай, разходишь в интерес.

Даже не догадавшись, точнее, даже не осмелившись назваться друг другу, стояли они посреди площади и, потупившись, не знали, о чем и говорить. Плутовато поглядывали на них прохожие, улыбались в кулачок. Молчание становилось невыносимым.

— И что? Так и будем стоять, как на привязи? — досадливо спросила Поля.

— Знаешь, можно посидеть... Да! Посидеть! На качелях! Пойдем покачаемся! А?..

В его голосе была робкая и настойчивая мольба пойти на качели. А в селе, где всяк друг у друга на видах, показаться миру напáру ой как много значит. Это значит в открытую заявить, что вы не просто повенчанная, коронованная случаем на

малое время парочка. Никита очень хотел, чтоб Поля пошла с ним, не думая, вот так без затей взяла и пошла, и это был бы лучший знак верной, надежной симпатии с первой минуты; ему так хотелось этой искренности, этой верности, этой святой казачьей доверчивости, равно живущей как в мужских, так и в женских сердцах, ему так сильно всего этого хотелось, что в какую-то секунду он уверовал, что девичье расположение уже завоевано и оттого шел к качелям в скверике если не решительно, то уж во всяком случае не боязливо, и в его голосе теперь была не только просьба, но и проскакивало какое-то тихое повеление.

Его желание непременно на виду у празднующего люда явиться союзом, вдвоем на качелях, передалось и Поле, и доверчивая Поля пошла с ним рядом, осмелев его смелостью, удивленная и несколько обрадованная его зыбкой радостью; ей вовсе не хотелось меньшеить эту радость, она сама ее ждала, не заботясь о молве. Потупив взор, Поля шла медленно и не заметила, как Никита на миг выступил вперед к лоточнице и тут же протянул Поле большой, на две руки, толстый кулек с пряниками.

— Это те гостинец...

Щеки у Поли вспыхнули. Никто из парней еще ничего ей не дарил, она не знала, как поступить с подарком, боялась притрагиваться к пряникам и несла, краснея, кулек в обеих руках, как носят младенцев неопытные родители, высоко оттопырив локти. У качелей Поля положила кулек на скамейку, прикрыла его козынкой своей и стала на доску.

Первый ветер в лицо, первый рывок земли навстречу, первый захват душ — удивительное счастье качели!

На самой вышинке, где Никишин край доски останавливался на какую-то малость, парень с силой приседал, вжимал в доску новую силу, и уже в следующий раз она подбрасывала их еще выше. Сверху он не видел ничего кроме нее самой, но и потом, летя вниз, невольно подмечал, как тот клочок неба, куда смотрел, стремительно перечеркивали сверкающие на солнце розовые радостные колени, платье, с сухим треском дразнившее ветер, и парень трудно утягивал горячие глаза в сторону.

Неловкость начала знакомства растаяла. Никита освоился, мертво и жадно смотрел Поле прямо в лицо, смотрел так, как там, в церкви.

— А знаешь, — заговорил белыми губами, — про что я думал, когда увидел тебя с клироса?

— Про шо?

— Будь на то моя воля, взял бы на ладонки на вот эти и унес бы на край земного берега.

Поля тихо улыбнулась одними глазами:

— Не далече ли?

— Такая власть в тебе надо мной... Как с рельсов сошел.

— Цэ уже здря. Чего так убиваться? У меня ж е хлопчина.

— Удивительно было б, не будь у такой у хорошки ухаживателя... И я не пень еловый... Валенок я твердочелюстный... Что б ты ответила, скажи я про сватов?

Поля обиделась.

— Теперь вот бачу, соскок ты з рельсов. Не во вред хоть бы через раз думал, шо ляпаешь. В первый же дэнь такие насмехи строить? Сто-ой!.. Звать не знаешь как, а про сватив помело точишь. Да ну стой же!

— Да что звать... Узнаю еще...

Едва доска сгасла в движении, Поля прыг наземь, сдернула с кулька косынку и пожгла прочь.

Никита еле догнал ее.

— Ты что, засерчала? — убито пролепетал он, прерывисто дыша.

Поля молчала.

— Может, ты мне что скажешь?

— Чего ж не сказать... Пойду поклоняюсь тетке за хлеб-соль, а там и до дому, — резнула холодно.

— Можно, я провожу тебя?

— Богатого спровожают, шоб не упал, а вора, шоб не украл. Ты зачем лабунишься меня провожать?

— Не знаю, — потерянно прошептал Никита. — Так... Мы с тетушкой с твоей в соседях. Я увижу в окно, как ты пойдешь в Собацкий, выйду. Ладно?

Поля повела плечом.

— А мне-то что... Раз охота...

Поля и впрямь думала наскоро распротиться с тетушкой, но тут ей повезло как утопленнику. Тетушка снова усадила ее за стол, хотя Поля и твердила, что есть вовсе и не тянет.

На ласковую просьбу Поля ответила безвыходной улыбкой и к удовольствию тетушки сделала здоровенный судорожный выдох, долженствующий означать, что место и для курятины, и для киселя высвобождено, и взялась за еду.

Тетушка с вязаньем подседа к изразцовой печке, пришатнулась спиной к нагретым плиткам.

— А ты, Польшка, девка хват, обдери те пятки. Какого малого поддела на уду!.. На лицо нескладный, а характером хороший!

— Вы про кого?

— Про кого ж еще. Про Никишку! Парубец на усу лежит. В возраст, в возмужание входит. Там, девка, не парубок — золота оковалок. Ладен... Не пьет, не курит... В церкви сама слыхала, ка-ак поет божественное. На него вся Криуша чуть ли не молится. Вся Криуша тольк и ходит послушать Никишу... А в поле! Как меринок ворочает! И пахать, и сеять, и убирать — лад-то во всяком деле у него какой!

— Ну да! Приставуцой, неотвязный... У Бога кобылу выпросит!

— Не журись особо. В хозяйстве сгодится... С годами молодое пиво уходится. А пока молодчага не промах, ухватистый.

— Оно и видно. Первый раз бесстыжа баче человека и давай про сватов молотить!

— Умно! Головки нигде не теряются!

— А кто эти Головки?

— Ое! Ну голова ж я и три уха! Да я ж совсемушка забыла тебе досказать... Головки — это ж Никишка твоя! Это ж их так по-уличному... На нашей Ниструговке они Головки и Головки... Головастые значитя! А самого, Борис Андреича, кто называет дед Бойка, а кто и проще — Головок. А самое чудное — вы однофамилики! Вы Долговы и они, — глянула в окно на соседский двор, — и они Долговы. Это не шутейное дело. Это сверху... От Бога... Боженька вас свел в божьем месте... Божье дело варится... Ты должна хорошенечку подумати...

— Ох, тетя, думаю. Аж голова репается! — отмахнулась Поля.

— Ты-то ручонками не маши. Ты думай. И делай, как делают умные люди. У тебя Никишина примерность перед носом лежит... Добрый пример... С первого взгляда парубок оценил! Наравится, на глазу киска — чего попусту воду лить? А ты-то что?

— А я говорю, не горячись сильно. А то кровушку взапортишь.

— С больша ума бухнула! Да-а, девонька, коса у тебя до пят. А все одно без ума голова — лукошко. Ну блажи у тебя, Польшка! Ну на весь Собацкий! Иля, може, он тебе не по вкусу?

— Какой-то беласый⁵... Так оно вроде и ничо, да ростом бедняк. Не выше ж петуха.

— У-у!.. Ну невысокий. Так про то ни речи. Но не петух же! А что ж тебе надобно два аршина да три палки? Собак на ем резаных вешать иле звезды им сшибать?

Поля кончила есть, молчала, соглашалась внутренне и не соглашалась с доводами тетушки, но не выказывала открыто несогласия, чем тешила тетушкино самолюбие.

— А у него, тетя, кабы сказать не сбрехать, — припоминала Поля, — и уха смешные... Ушастик...

— Оглянись, коза, на свои рога! Ты-то у нас, всеконешно, раскрасавка. Только б хорошо к этим глазкам еще и головку помозговитей. А то там им, двум фонарям на пустой каланче, цена невеличка. Чего уж слова терять впусте, не крут наварок.

Поля не отвечала.

Ей осточертела эта бесконечная болтушенция, пустая, нудная; она уже мялась у двери, не смела прервать тетушку, но и не смела уйти вот так, не попросившись. Такой вольности со старшими ей не попустят ни дома, ни в людях где, и она, переминаясь с ноги на ногу у порога, покорно ждала, пока тетушка не смолкнет. Однако тетушке, по всему видать, трудно было даже остановиться, поскольку пружина на такой разговор крепко была в ней заведена до бесконечности. Так, по крайней мере, казалось Поле. Свое заключение девушка вывела из того, что тетушка говорила как по пальцам, гладко, слова лились из нее однозвучно, ровно, будто из вечного родника.

Неожиданно тетушка затихла. У нее пересохло горло и пока пила она кисель, начисто потеряла нить слов своих. Это даже как-то напугало ее. Она конфузливо морщила и без того морщинистый лоб, силилась вспомнить, что ж такое тренькала, но никак не могла вспомнить, и тогда спросила Полю, на чем она заглохла. Поля окончательно спихнула ее с мысли, почти выкрикнула, боясь не выпередить ее:

— Вы собирались проститься, тетя!

На удивленье, тетушка как-то послушно положила сухие руки Поле на плечи. Они расцеловались, расцеловались трижды, после каждого поцелуя коротко отстраняясь верхом и словно бы любуясь в восторге друг дружкой.

Минутой потом тетушка приникла к окну, следила, как Поля улочкой шла в сторону большака. От страшного любопытства у тетушки захватило дух, когда Поля едва поровнялась с высокими тесовыми воротами соседскими. Пойдет не пойдет, пойдет не пойдет, гадала тетушка, сгорая от ожидания. Она чуть не вскрикнула от изумления, когда все из тех же ворот воровски выдернулся Никиша и понуро качнулся считать девчачьи следы, не смея ни окликнуть Полю, ни духом нагнать ее.

— Эй-ге-ге-е! — зацокала тетушка языком. — Не замерзнет лавочка наша с товаром, поцелуй тебя комар!

Молодые шли локоть к локтю в тягостном молчании, будто шли они на кладбище к кому самому дорогому, погребенному в их отсутствие, и теперь каждый, казался, думал про то, что скажет перед свежим еще холмиком.

На околице Поля остановила шаг.

— Ну а дальшь, — она посмотрела на синий вдали за полем лес, куда вела ее дорога, — не треба. Надальшь я сама...

⁵ Беласый — белобрысый.

— А что... если я... приду к вам на лужок⁶? — нежданно для самого себя в тревоге выжал Никита и осторожно, бережно глянул на Полю.

— А я разь запрещаю? — уклончиво ответила Поля. — Ваши криушанские табунками к нам на гармошку надбегают.

— А ты-то бываешь там?

— Пустячь батько-матирь, приду часом.

— Ты так надвое говоришь...

— А натрое я не умею.

— Даве вот ты, — мучительно, журливо говорил Никита, — сказала, что я не знаю, как тебя и зовут...

— И назараз то же в повтор скажу.

— П-Поля...

— Стороной где прознал?

— Зачем же стороной? Ты еще говорила, что вижу я тебя впервые...

— Ну второй раз за сени.

— В тысячный! Иль ты совсем забыла прошлое лето? Большая тетка... совсем плохая... Сам, старик ее, пас скотину, так ты полных три месяца одна ходила за теткой, и был ли день, спроси, чтоб не видал я тебя? Это ты не видишь людей... И невжель ты серьезно думаешь, с кислой лихоманки пошел я плести про сватов?

Напряженно, подломленно Никиша смотрел Поле прямо в глаза.

Поля не вынесла этого взгляда отчаяния, растерянно заморгала. Совсе не понимая, как это за ней следили все давешнее лето, зачем это кому-то нужно было, она глухо выдавила:

— С лихоманки, не с лихоманки... Тебе лучше знать. Только тутечки большина, остатне слово, не за мной... У меня ще батько-матирь е...

Поля сострадательно улыбнулась одними губами и медленно побрела по дороге. Она б, наверное, не воспротивилась, насмелся Никита и дальше провожать, но ее слова «надальше я сама» стояли у него в ушах, не давали ему силы сделать хоть шаг в ее сторону.

«Ты не велишь мне больше провожать тебя, да песне-то ты не запретишь этого».

И он запел — как заплакал:

Нехай так, нехай сяк,
Нехай будэ гречка⁷.
Не дала мени словечка,
Нехай будэ гречка...

Степной ласковый ветер то услужливо подносил, то тут же отбрасывал жалобные слова парня. Поля в грустной печали вслушивалась в них, по временам останавливалась, задерживала дыхание, чтоб ясней разобрать, но это давалось ей все трудней; с каждым шагом голос падал в силу от растущей дали, слова дрожали в молодом весеннем воздухе все размытей, все глуше.

Апрельские ручьи будили землю. Давно уже грач зиму расклевал — вешним паром отогревались, отходили вокруг поля, под жарким по-июньски солнцем прела пашня.

Поля думала про то, что вот уже вербы у речки, петлявшей вдоль дороги, разрядились в желтые пуховые шали, и жирная, сочная полая вода крушила в Криуше, в ериках берега.

Со степи дорога взяла вправо, в березняк. Хотелось пить. На счастье, у обочины добрая рука повесила на сучок высокую березовую кружку, повесила нарочно.

⁶ Лужок — молодежное гулянье на улице.

⁷ Нехай будэ гречка (укр.) — пускай будет по-твоemu.

Пей, путник, сколько твоей примет душевка! Кругом стояли без счета дубовые дыбарки. В те дыбарки не то что капал с лотков — лил ручьем, журчал сок. Куда как много, гибель его из березы бежало, пророча дождливое лето.

Уже вторую кружку допивала Поля, как где-то за спиной она явственно слышала перестрел сухих сучьев. Полю подпекло обернуться на шум — горячие сильные широкие ладони закрыли ей глаза, до боли заломили голову набок. Она криком закричала на весь лес — звонкий поцелуй ожег ей полные тугие губы.

— А-а!.. Пресвятая душенька на костыликах! Вот те за все муки мои!

Сергей прочно обнял девушку, потянулся за вторым поцелуем. Поля резко дернулась вниз, вывернулась из кольца железных лапич и что было мочи огрела прокудника дном кружки по лбу. Он отпрянул за дерево, прикрыл лоб гробиком ладони.

— Мда-а, — зажаловался, — играешь с кошкой, терпи царапины. Если б одни царапины... Слушай! Точно вот так штампуют инвалидов четвертой группы. Варакушка⁸, да ты что! Неужели я сюда за столько верст лишь за тем и перся, чтоб в благодарность за мое усердие схлопотать по лобешнику?.. И-и-и... Рискованно целовать молодую тигрицу... Не знаешь, как ответит...

Глаза у Поли налились обидой.

— От кобелюка! З цепу зирвався? До смерточки ж выпужал!

— Подумаешь, трагедия. Поцеловали! Не бойся, поцелуй дырки не делает. А если тебе его жалко, так на его назад! На! Мне чужого не надь!

Шельмовато похохатывая, будто ронял горошины молодого баска, Сергей ладился опять обнять девушку — крепкий огрев лозинкой по пальцам вытянутой руки заставил его судорожно вздрогнуть, отступиться.

— Хох, ну чего ты вся из себя... — шелково подсыпался Сергей. — Прямо дышать нечем... Гордынюшка так и распирает ее. К чему коготочки выпускать? А? Ну!.. Варакушка, не глупи. Вокруг ни души... Никто не видит...

— А сами мы шо, не люди? Зверье разве якэ? А совесть не бачэ? Не бачэ? — В ярости Поля кинула кружку на прежний сучок, выхватила из-под ноги корягу.

Сергей глубокомысленно почесал в затылке.

— На кого с дубем? А?.. Позвольте, Полина Сердитовна, помочь вам нести вашу палицу. Не убивайте во мне светлые порывы, пожалуйста палицу, — с игривой вкрадчивой учтивостью канючил парень. Втайне он надеялся хоть вот так завладеть грозной суковатой палкой и смиренно, просительно и не без опаски протянул обе руки принять ее.

Казалось, Поля не слышала его пустых слов. Помахивая перед собой в нарочитой небрежности кривулиной, она перепрыгнула через канаву и пошла по большаку.

Сергей поскребся следом.

— Приходи сегодня на улицу на Середянку. Я балабаечку возьму... Потрындюкаю...

— И не забудь выпросить у сеструли Анютки чем подрумянить щеки! — колкливо кинула она.

— Для тебя для одной чего ж не подрумяниться?

— Мне без разницы...

— А я, дурило, думал, обрадую, — с досадой и вместе с тем с какой-то зябкой надеждой удрученно пробубнил он. — Примчался вчера к нам Егорка со своим солнушком, ну и вывали, где ты, что ты. А дело к сумеркам. Я вперехватку и кинься на рысях в Крюшу. Прождал в Кониновом леске⁹ до звезд сыных... Сене с зорьки дежурю... Все ножульки отходил... В стаду не пошел вон!..

⁸ В а р а к у ш к а — певчая птица, «свояченица» соловья.

⁹ По рассказам старожилов, в Кониновом лесу когда-то жили дикие кони.

— Ка-ак не пошел? Ты ноне череду¹⁰ не пас?

— Пасу вот. Тебя.

— Шо люди скажут?

— Эти кулачики? Для них у меня пасеное словцо за щекой. Плевать! Отъем один круг¹¹ да и шатнусь по найму к другим!

— Ты такой пустодыря?

— Поляха! Ты на меня особо не косись... Я, может статься, еще в институтцы впрыгну!

— Ты? У тебя ж в кармашке тилько три классы!

— Эка печалица! А я заочным бегом и школу добыю, и до институтского дипломища докувыркаюсь. Так что цени! А ты...

— А ты, последуш, правь иль большаком, иль стежкой. Тилько не топчи следы мои. Выбирай.

Поля стала у развилки, откуда и той, и той дорогой можно было попасть в Собацкий, чуже ждала, когда Сергей пойдет вперед, чтоб потом и себе пуститься другим путем. Но Сергей не уходил, примирительно, извинительно выжидал в надежде, что что-то изменится.

— Не, — медленно, тяжело повела она головой из стороны в сторону, — не жди. Не ходить одной нам дорогою...

Ей надоело ждать. Она ходко взяла стежкой. В гору. Так было ближе.

Сергей побрел за нею.

— Так кому я — ветру сказала? — Поля снова остановилась. — Лошадь за делом, а на шо лошаку бежать вследки так? Да не приведи Господь кто из наших, из хуторяньских, побаче нас на пару — неславы довеку не оберешься. Ну на шо такие игрушки?

— Увидят не увидят... Это все еще в волнах... А тут вот это благоприобретение... Это солнушко... — Сергей с заботой, осторожно обвел пальцем просторно севшую на лоб шишку. — Это архитектурное излишество мне как-то вовсе ни к чему. Как бельмо на глазу.

Поля усмехнулась уголками рта.

— То пчелка меду дала, какого ты и хотел... — И взяла голос поостроже: — А увяжешься за мной, ще разживешься медком!

Невесело, через силу улыбнулся Сергей, скрестил руки на груди и с грустью смотрел Поле в спину, покуда не пропала девушка за возвысьем из виду.

6

*Вдруг сердечко пылкое
Зажглось, раскалилося,
Забилось и искрами
По груди запрядало.*

На неделе, в среду, Владимир попылил на своей бричке за семенной гирькой, и Олена насыпала такой ворох новостей, такой ворох пьянящей радости, что у него едва не подломилась нога. Он только на то и нашел силы, что сгреб картузишко с головы да и хлоп им об пол.

— Грай, музыка, а то струмент побью! А! Полька! Я думал, она у меня ни кув, ни меле. А она... Ит ты! Говорила ж душа, не чета горбыльский бычок! Девку мою в богатский дом манят. А коли так, так и пышку в мак! Вот моя на то согласность! — Володьша воображаемой иконой перекрестил воображаемых жениха и невесту,

¹⁰ Ч е р е д а — стадо крупного скота.

¹¹ О т ь е с т ь о д и н к р у г (о пастухах) — обедать поочередно у хозяев.

что стояли перед ним на колених в ожидании благословения. — Да, да! За этого за твоего Никитку я с большим сердцем отдам, и душа не боли!

Олена привыкла ко всяким житейским разностям и никак не ожидала, что весь-ма обстоятельный ее рассказ про жениха так живо примет Володьша. Неистовый его восторг несколько пугал ее.

— Быстро ты, Вовуня, выпихнул не гляючи. А Полька пока молчит? Или как?

— Молчит. И хай молчит! Ит ты, говорить буду я. Я свою Сашоню увидал попервах под венцом. Повезли нас родители в церкву, никто не спросил.

— Хоть бы для блезиру спросил. Ведь не ранешние, не старопрежние времена.

— Смалчивай, глуха, меньше греха... Ох и сказанула, як в лужу ахнула. Ну и шо ж из того, шо новые времена? Девка-то моя! Ка-ак ни вертану, а с отчетцем в том не побегу ни к кому.

Минуло полных семь дней.

Однако желанный парубок отчего-то все не казал носа, и Володьша сам побегал на поклон в Кривушу, засуетился полегоньку наставлять свояченицу уму, как его половчей подкатить колесушки к женишку.

— Ое, Вован, что ж ты старую кобылу учишь, как овес жевать? — обиделась Олена. — Да я на этом овсе все четыре умных зуба стерла!

Одно слово, деликатная беседа с бесконечными развернутыми уточнениями во всех подробностях выскочила на радость обоим просторная, они с медово-сладкими лицами засиделись за ней так долго, что Володьша поехал назад совсем в ночь, уже при звездах, улыбчивых, веселых. И чудилось ему, что «звезды висели на светящихся нитях».

На следующий день, в четверг, Олена встала разом с солнцем. Для апреля слишком поздно.

Без обычной проворности хлопотала она по дому так, что оторви да брось, и была тому причина: почти все утро проторчала то у окна, то на приступках, с цыпочек засылала глаза поверх высоченного забора к соседям на подворье. Выискивала Никишу. Она уже и не чаяла увидеть его сейчас. Рассудила, что он в поле где. А он вон пожег с уздечкой к деннику.

— Никиш, а Никиш! — молодо заподпрыгивала на подушечках пальцев, загодя тайком вкинув пустое ведро в колодец. — А заверни сюда, будь ласка, на минутыньку! Подсоби горькой горюхе, подсоби-и, — клянчила с жальливой настойчивостью.

Никита бросил уздечку на кол в плетне, вошел к ней во двор.

— А горя-то какоюще... Ведро окаянное с цепка сорвалось. Утопло. На, прятка, — старуха подала ему багор, — поищи... А горя... С вечора не пимши... В доме ни водинки...

Край некогда Никише. Но раз соседка примирает без воды, как не помочь? Спустил он багор в колодец. Лег на осиновый сруб, зашарил по дну, вслушиваясь в колодезную тьму. Рядом на венец припала сухой, выморочной грудкой бабка, свойски вшепнула в ухо:

— Передохни. Потом примахнешь.

Никиша скосил на нее удивленные глаза.

— Я еще не устал... А чего это вы дедушку Василька не заставите поковыряться в колодце?

— А где тот твой Василек? Или ты не знаешь? Гляди, разоспалсе там, в певчей. Тепере допрежь обеда не жди, покудушки батюшка кадиллом не подымут. Он жа, Василек мой Борохван, — воистину вот боровок! — как говорит? Я стерегу церкву, а Господь стереге покой мой. Так что он с Богом до полудня не распростится.

Никита крайком уха слушал бабкин треск про ее мужа, церковного сторожа, и добросовестно толочся вокруг проклятушко ведра, по бокам которого глухо, коротко раз за разом чиркал багор, а взять за дужку все никак не выходило.

— Ты, Никиша, — вкрадчиво пела под руку бабка, — не таись меня. Я не слепая, вижу все как есть. А раз так, то я и видала тебя с Полюшкой. У меня с ней знаешь, какой разговорешко спексе?

— Да? — Никита толкнул багор в угол сруба, мягко взял старушку за локоть. — Что же она, бабушка? Говорите! Ну...

— Спервоначалу доложь сам. Серьезко ты к ней иля так, на два огляда, на одну мазурку? Проплясал да и к свеженькой конфетке?

— Тоже скажете! Я-то ее с прошлого лета знаю. Да что! Оченько нужен ей такой страхолюд.

— Какой же ты страхолудец?!

Старуха картинно уперлась кулачками в бока, весело и пристально смотрит, как бы оценивает, в самом ли деле страшен Никиша, и ничего кислого в нем не находит.

— Какой же ты страхолудец?! — сердится она. — Это чего ты на себя наносишь? Это на что ты себя в грязь топчешь? А? Да ты, Никитарчик, любой девке сладкое поднесение! Вот мой истинный крест! — Бабка с вызовом и с достоинством перекрестилась. — Выкинь из головы, забудь своего страхолюдика. Думаешь, отец с маточкой не отдадут?

— Бабушка, — опало вполголоса проговорил Никита, наклоняясь в угол сруба к багру, колом выпиравшему из сумерек колодца, — да она сама ввек не потянет мою сторону.

— Не знаешь ты наше бабье племя. Ах ты, горе дитятко... Ну коли так... Один у нас с тобой блин на двоих и той напополамки ломай. Одна ж заботушка! Я знаю слово. Ты скажи его на три зари: на утренню, на вечерню, на утренню снова. Попробуй запомнить это слово. Не запомнишь вдруг, я повторю еще. Слухай... «Встану я, Никита, на утренней заре, на солноходе красного солнца и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, на восточную сторону, в чистое поле, — монотонно, уныло загудела бабка. Очарование, испуг подступили к сердцу, Никиша привороженно остановил дыхание и снова оттолкнул багор. — В том чистом поле гуляет буйный ветер. Подойду я поближе, поклонюсь пониже и скажу: «Гой еси, буйный ветер, пособи и помоги мне закон получить от сего дома, и взять кого я хочу, и у того бы человека, Пелагии, ум и разум отступился и на все четыре стороны расшибся, а ко мне бы приступился и ум-разум домашних, судьбы наипаче кого хочу получить, и перевалились бы и отошли бы ко мне все ее мысли, и охоты, и забавы, и все бы их вниз по воде унесло, а на меня принесло». Ключ в море, язык в роте. Тому слову нету края и конца, от злага человека вреда, беды и напасти. А кто бы на меня и на нее подумал недоброе и замыслил, у того человека ничего бы не последовало, и заперло бы ключами и замками, и восковыми печатями запечатало». Вот оно какое слово мое вещее... Не смотри, что такое долгое, а на память ловко ложится.

— А я не запомнил, — очнувшись, бормотнул Никиша.

— Не горюнься. Я в повтор скажу. А ты про себя тверди за мноюшкой. Наверно так запомнишь.

— А куда наш Никишка заваялся? — в недоумении крикнул из денника отец. Ему не ответили. — Ехать час, пошел запрягать. До жеребца не добег... Иль черти куда в лес по ягоди сманули?

И бабка Олена, и сам Никита слышали отца. Они смотрели друг на друга и не знали, что предпринять. А тут уж ничего и не предпримешь. Вешний день за золотой, минуты под ноги не брось. И старушка, пожевав пустым, беззубым ртом и примирясь с богохулениями Головка, наскоро стала повторять свое слово.

Никита не смел прервать старшего, слушал, вовсе не вникал, не лез в смысл и слушал скорее так, из вежливости: в чуде он не верил. Ну не быть же тому, думалось, сказал ветру в поле и та, в ком души не чаешь, без прекослову твоя. Таково ни с кем не бывало. И разве будет?

Но вместе с тем пленительная красота звучания слова снова затягивала его, бередила душу, заставляла с жарким восторгом вслушиваться в музыку слов, любуясь алмазами.

Бабкин голос, что твердил заговор, шел за Никишей всюду. Никиша даже в удивленье оборачивался поглядеть на бабу, но бабки не было, и голос на тот миг пропадал. А как только Никиша отправлялся дальше, голос снова твердил ему в спину заговор, но отставал от парня.

Слова заговора, казалось, падали зерном на землю, когда Никиша разбрасывал семена, уходили в землю, когда он бежал за плугом. Бабкин голос приходил к нему в тень под бричку в короткий торопливый обед, не давал по ночам скорого сна.

Заговорные слова легли у него в голове свернутыми в ком рваными звеньями, вытянуть которые в одну цепь Никиша не мог. Последовательности слов он не помнил, отчего и не просил содействия в делах сердца ни у утренней, ни у вечерней зари, не звал в пособники ветер, а работал в поле не в пример как огнисто, так, что старики подивились: и чего это Никишок гужи рвет с больным усердием.

А старался он завоевать стариков, к коим, как только отсеялись, и повалился в ноги, навел речь на сватов.

— Про то и кукушка кукук... кукует, что своего гнезда нету, — сказал отец. — Ну что, лишитель покоя, сам приглядел иль свел кто?

— Сам.

— А где ж ты ее милости доискался? Ты ж далее двора вроде и ни ногой?

— Да уж видал единожды...

— И на том спасибушки... А трудолюбца?.. И чьих она будет?

— А я, — смутился Никиша, — почем знаю?

— А Боже! — В досаде отец было чуть не пустил в тыщи прямо с козыря, не пугнул едва по матушке, но вовремя взнуздан гнев свой, удержался. Пробормотал лишь с ядком: — Ну что ж, дружка... Эхма, на чем только беда не лежит... Так ты что, в сам деле ни холеры не знаешь про свою красоту?

— Ну кто вам сказал... Собачанская она. Зовут Поля. А чьих там она будет... Поедем сватать, в Собацком и узнаете, если так кортит вам.

Отец кольнул Никиту насмешливым взглядом, скрестил руки на груди.

— Нам-то, Свет Борич, хоть бы и не кукарекало. Это вам приспичило лихоманку затеять. Подбивает ехать сватать, а кого — сам не знает! Такого в роду у нас еще не бывалко.

— А теперь вот будет.

— На резвом коне кто ездит жениться?

— А мне другого не надо. Плотно видал раз — мне по ноздри довольно! — твердо, но едва слышно проговорил Никиша.

— С горячих молодых глаз уже и ценушка красная выставлена. Хо-ро-ша-я... Отец замолчал, цепко вглядывается в сына.

Борису Андреевичу нравилось, что Никиша тверд в своем решении, и непреклонность, уверенность сына неспешной надежной силой брали в полон и родительское чутье. Оно подсказывало старику, что не ошибался Никита в выборе.

Может, думал отец, и хорошая. Понятно, можно было бы какой и подождать годок. А кинешь так умком, чего ж его ждать, коли судьба подъехала?..

*Много ль раз роскошная
В год весна является?
Много ль раз долинушку
Убирают зеленью,
Муравью бархатной,
Парчой раззолоченной?
Не одно ль мгновение
И весне и юности?*

Перед венцом, вот уже перед самым венцом, подымались уже по порожкам на паперть, Сашоня (колыхалась она грузной уткой рядом с молодыми) тесней сжала Поле локоть. Дочка поворотила к ней лицо.

— Помнишь?

Спросила Сашоня так тихо, что Поля не расслышала, но что вопрос был именно таков, она догадалась по губам матери.

Поля посмотрела на нее впологлаза, едва заметно кивнула.

Пуще всего Поля боялась перепутать материнские наставины. Она хорошо помнила, что под венцом невеста крестится покрытой рукой, жилось чтоб богато. Она так и делала, крестилась покрытой рукой и все покуда шло благополучно. Но бедняжка запамятовала, как держать свечу. То ли вровень со свечой Никиты, то ли ниже, то ли выше. Ее сломало холодом испуга, она машинально угарила поведла свечу из стороны в сторону. Дрожащая свеча сыпала слепые, тут же в треске гаснущие, огоньки, дергалась в полутьме церкви, как блуждающая звезда в ночи.

Поля упреда плутать, остановила руку: ее свеча оказалась ниже жениховой. Первой за спиной у молодых стояла Сашоня, вскипело буркнула:

— Вы-ыша-а! Иля ты повредилась?

Поля послушно подкинула руку — свеча окаянно выпрыгнула выше Никитиной на всю ладонь.

— Ни-ижа-а!

Материна толстая туфлина с разворота бухнула ее тупым лаковым носком в щиколотку, так что Поля, жалостно охнув, вздрогнула. Вместе с ней вздрогнула свеча и дернулась книзу. И еще несколько мгновений белая девичья рука со свечой то коротко и резко опускалась в церковном сумраке, то поднималась. Все вокруг зашущукало, строя черные догадки о нраве невесты, суля молодым нерадостные дни.

Но все это было ничто, мыльный пузырь против того, что приключилось в самый конец. Венчание кончилось. Молодым следовало разом задуть венчальные свечи. Никита показал глазами Поле на ее свечу — не забывай, вместе! — и дунул на свою. Его свеча потухла. Поля же растерялась, забыла, как дуть. Она не знала, что делать, а потому ничего и не делала, все стояла со своей свечой, и тут она почувствовала плечом, как кто-то огрузло, зло привалился к ней сзади, и струя воздуха с шипом пронеслась к свече, свеча погасла. Это дула Сашоня.

Вихрь над ухом вернул Поле память. Она все разом, в единый миг вспомнила, что твердила мать, вспомнила до слова, до голоса, каким было сказано:

«Кто под венцом свечу выше держать, за тем большая. Держи чуток повыша Никиткиной. Ну, на палец. Колы на секунд спустишь до ровни, не беда. Но довго не держи вровень. Все ж таки треба подать сигналик, что веру твоему в доме быть. Хоть и небольшому, на большой ты и не разбегайся, а все ж твоему. Нехай это всяк видит загодя, еще под венцом. А уж кто як примет его... Пускай обижается, пускай не обижается. Нам оттого ни холодно, ни парко. Венчальные свечечки за-

двать разом. Шобы жить вместе и помирать вместе. Тут никакой убеки в сторону от моих слов. Запомни. Не острамишь сама, не острами ж и нас».

Не орами...

Что же теперь?..

Поля стояла как вкопанная, не смела повернуть головы. А поворачивать уже время. Свет от распахнутых дверей ударил в спины. Послышалась возня выходивших. Да и не стоять же здесь веки вечные. Но как выходить? Что я скажу матери?

И привиделось ей, падает она в обморок, и подвески, дребезжа как-то набатно, возвестили своим взбрызгом о страшной беде. Венец слетел у нее с головы и солнечным, звончатым колесиком покатылся к дверям под ноги выходившим. Кто-то в нечаянности наступил на него. Венец жалостно хрястнул под слоновою ногой, малая толика позолоты пылью ссыпалась на пол.

История с венчалной свечой приняла неожиданный ход. Старики жениха припечалились. А может, суженая с бусьрью? Ну куда нам такой товарко прибирать к своим к рукам? Пускай уж сами ее батько-матирь радуются ей одной всю жизнь. И похоже, запросились на попятный дворок, к разженитьбе.

— Вам-то что за разор?! — вскинулся Никита. — Я-то вроде ее беру!

— Ты-то у нас партизанишко смелай, что хошь возьмешь. А моргать за нее всем семейством? — подкрикнул отец. — Уволь! У меня моргалки не заемные, не покупные. Скажут же, не мог Никишок в лесе палки найтить!

— Не все то в строку, что молвится, — возразил Никита.

Никишу поддержал тесть:

— Правильно! На весь мир не будешь мил! За ветром в поле не угоняешься. За глаза и про царей знаешь яку хохлому несли? А Романовы слухали да триста лет верхом на России ехали!

Борис Андреевич удивленно уставился на Владимира:

— Ты-то, грамотейка, откуда такой выщелкнулся? Ты-то откуда знаешь?

— Оно, дорогой нам Борис Андреевич, — залисил Володьша, — проданному товару золотой верх. Другого верха не може буты. Уже и повенчал молодых батюшка, слил венцом. Куда ж нам разрушать содеянное самим Богом?

— Эко лихостно... эко жалобливо содит! — насупленно обрезал Головок. — Не кукарекай допрежь время! Вот еще с глазу на глаз потолкую с невестушкой, там и скажу свою решенью.

Головок помягчел после разговора с Полей. Он понял, что выскочил конфуз у нее с перепугу, с растерянности. Однако во зло Володьше он горел убедить себя, что она и в самом деле полоумка. Он долго судил да рядил с нею о многих сторонах жизни — во всем Поля выказала завидный природный ум. Это повергло старика в восторг.

«Умом девонька не надорвались, талант варит! Вот только я чуток не выпал из рассудку. А ну грохни я по злой дурости разженитьбу, что стало б с Полюшкой? Какая неслава накрыла б и ее, и родителей, и Никишку, и меня самого?» — И старчик утолкал свою дуристику на самое донышко в себе, щедро отломил на свадьбу полцарства своего. На Покрова гулял весь сбродный молебен.

Иэха, батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, муженьком!

После богатой, бесшабашно-обильной недельной свадьбы с катаниями на тройках с бубенцами отгорело лет восемь.

О, велик врачеватель время. Оно примирило, присмирило всех и вся. Про казус на венчанье ни один Ероша уже нигде и ни при каком случае не поминал. Было другого в достатке, заслонили беды последней поры...

ливые руки. В аккуратной работе, в обстоятельной манере разговаривать, вести дело со старшими проступали умная мужицкая хватка, сноровка делать все ладно, делать все ловко. Округлые в прошлом черты красивого Полина лица заострились, стали какие-то выжидательно-виноватые. Казалось, она ждала чего-то такого, чего смертельно боялась. Поубавилось восторга в голосе, некогда звеневшем чистым, журавлиным звоночком над вешним полем. Все реже слышали ее привялый голос. Время споловинило блеск в некогда лучисто-озорных веселых глазах. Задорная походка скакнулась на озадаченно-медлительную, потускнела. Из нее ушло что-то такое, что делало ее непосредственной, живой, приманчивой.

Но горячей всего Володьшу подпекало то, что Поля была холодновата к Никише. Это заметили и его старики.

Как-то приезжает Володьша в гости в Крюшу, а сватья Надежда Мироновна и зажалуйся:

— Ой, сват, чтой-то худое с Полюшкой деется. Пока я с нею в хате одна, она веселая, вся радостью пыхкает. Прядем и песни граем, ино она грубку¹² размалюе цветками, и разговоры-переговоры у нас без краю льются. А Никиша на порог — замолкает. Не то что с ним — со мной слова при нем не подает! Полсловечка не выжмешь!

— Надо, Мироновна, ее полечити. Я знаю как.

И поехал Володьша в Старую Крюшу к бабке Ревихе. Стала бабка наговаривать на сахар и запечалилась: «Да как же она будет с ним в ладу жить, если на дорогу перед ихним свадебным поездом, когда ехали из Собацкого в Новую Крюшу, хлопнули мертвой воды, в которой купали покойника?»

Поили Полю компотом с наговоренным сахаром, кормили наговоренными пампушками... Не помогло.

В другой раз Ревиха наговорила на рыбу:

— Спрашивает Павел Петра: «Где ты слышал голос осетра? Рыба не говорит, не кусается, не кричит, не взъедается». Отвечает святой Петр: «Рыба не кричит, рыба, Павел, молчит». Так бы в семье раба Никития в гневе не кричали, а любили и мирились на каждый год и на каждый час, и на полчаса, и на минуту, и во веки веков. Аминь.

Кормили Полю и наговоренной рыбой, но остуда между молодыми не уходила.

И стала Поля еще забывать. Вот придет в ту же лавку. Смотрит на товары, знает, шла за чем-то, но за чем именно — не вспомнит. Бредет назад спросить. К свекру она не подходила, не смела, хотя и расположен он к ней был, грех жаловаться. Обычно шла к Никише. Уже тот бежал к отцу разведать в деланной наивности, а куда это и за чем угнали Полю. Никиша передавал, что нужно. Крадучись от свекорка, снова тащилась она в ту злополучную лавку.

На первые глаза, жилось Поле в доме свекра хорошо. Ее любили, почитали, ей первый кусок, ей первый тост за праздничным застольем, ей первая честь в доме во всем. Но вместе с тем она читала укор на лицах и Никиты, и его стариков.

Как-то, шутка не в шутку, свекор и скажи, что же это-де, невестонька, заждались мы внучика, не пора ль усчастливить старого валенка? Без подсказок она знала, чего от нее ждали, и невидные, потайные слезы ее лились и на золото.

Рожала Поля каждый год. Каждый год на погосте становилось одним ее холмиком больше. Уже шесть верб-палочек посадила на могилках. Вербочки укрепились, уже лопотали на ветру торопливо, взахлеб, и не могла Поля разобрать, что они такое шумели ей в ответ. А спрашивала она об одном, долго ли быть ей лишь *вербной матерью*. (Так называли тех, у кого часто умирали дети, кто много

¹² Г р у б к а — печка.

сажал верб.) С поклоном на ветру вербочки отвечали что-то свое скорое, невразумительно-удалое, блестящее на солнце, а что — она не понимала.

И когда Головок отметил, что невестка снова в тягости, он внутренне обрадовался и испугался. «Как ба еще чего худого не выскокло. Всяк же годок хоронит по человечуку. Горь всю высушило, как ветоныку... А внучика хотню... А ну сдурь отстегну копыта¹³? Невже и внука не потетешкаю на своих на руках?»

Новых родов очень боялись и ждали в крайней надежде. Ну, может, ну, может, эти сойдут благополучно. За Полю молились, отслужили молебен. Уже ни на грамм не верили бабке Олене с ее подмятой репутацией. Ей в открытую лепили, что ее наговоры всевидец ясный не принимает, того и Полиной беде сконча не видать. Бабка сопела, на богохульные выбрыки отмалчивалась. Весь вид ее говорил: да неохота впусте топтать с вами слова, изыдите!

В район, в Калач, роженицу не повезли. Далеко. Накладно. На даровые харчи надежи никакоечкой. Есть-пить хоть чего подадут? А кто повезет? От дома не отлепись. Сентябрь, сама работа. Полный к зиме спех.

Роды принимала дома сама свекровь. Прислуживала ей Олена. Олена не надеялась ни на свекровь, ни на себя. Все творила заклинания.

Перед самым началом Поля попросила пить. И бабка Олена не простой ей водицы дала, а той, на которую положила в мыслях Боговы слова:

«Стану я, раба божья Пелагия, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротыми. Выйду я в чисто поле, помолюсь и поклонюсь на восточную сторону. На той восточной стороне стоит престол господень. На том престоле господнем сидит пресвятая мати божья Богородица. И помолюсь и поклонюсь пресвяти матери божьей Богородице: «Пресвятая мати Богородица, соходи со престола господня и бери свои золотые ключи и отпирай у рабы божьей Пелагии мясные ворота и выпускай младеня на свет и на божью волю». Во веки веков аминь».

Едва перерезав пуповину, бабка Олена, вся светясь, будто родила она, хватъ желтыми со старости пальцами мальчика за нос. Потянула трижды, приговаривала:

— Не будь курнос да спи-и крепша!

Ребенок заплакал.

— А ну тебя к коням! — Свекровь властно оттерла Олену, взяла мальчика на руки. — Кочеток серый, кочеток красный, возьми крик у сынушки у нашего.

Обмыла она мальчика, стянула пальчики на ручках, на ножках. Положила к себе на ладонь. Головка и ножки свесились, как рожки у только что народившегося месяца. Встряхнула:

— Расправила... Все-ею!.. Уродушкой не хотню нам рости...

С днями, когда Поля почувствовала себя лучше, свекровь выпарила ее в бане. Следком принялась парить в великой радости и младеня. Наконец-то можно наговориться с внуком:

— Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручки, растите, толстейте, ядренейте! Ножки, ходите, свою телу носите! Язык, говори, свою голову корми! Бабушка Соломоньюшка парила и правила, у Бога милости просила. Не будь седун, будь ходун. Банюшки-паруши слушай: пар да баня да вольное дело! Банюшки да воды слушай. Не слушай ни уроков, ни причищев, ни урочищев ни от худых, ни от добрых, ни от девок-пустоволосок. Живи да толстей, да ядреней. Спи по дням, рости по часам. То твое дело, то твоя работа, кручина и забота. Давай матери спать, давай работать. Не слушай, где курицы кудахчут. Слушай пеняь церковного да звону колокольного.

С этими семьюми родами не набавилось верб погостных. Мальчик вышел кре-

¹³ Отстегнуть копыта — умереть.

пенький жилец. Свекор подпихнул молодых назвать его именем своего деда. Был дед ядреней Тараса Бульбы. И Митя таким будет, считал старик. Выживет, накинёт крепости старинному роду.

В здоровье Митя дожил до второго льда, до нового покоса. Домашние не чаяли в Поле души, только что не молились.

— Передохни годик какой, — твердил старик. — Спала с лица, извелась в нитку. Поглянь на себя. Кости да кожа. Нечему радоваться мужицкому глазу, смотрячи на тебя. Я твое, что могу, поделаю по дому. Не бегай и с косой. Сами управятся.

Но Поля ни о какой поблажке и не слушала.

Стоял июнь, красный румянец года. В июне, говорят, еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.

Цвела кольцовская степь. Наливался зерном колос. Июнь-скопидом добросовестно копил мужику урожай на весь год.

В канун сенокосицы сбились молодые косари в кучку, куда вошли Никиша с Полей. Окашивали канавы, придорожья, скудные лесные прогалки, полевые охвостья. Правил артелью Никиша. Самый старший, самый хозяиновитый. Уж такой, подхваливали старики, ни былинки не покинет на сгной осенним ералашным дождем.

В заполдни ребята домолачивали придорожный бугор. На стремительных ресорных дрожках бесшумно подкатил Сергей Горбылев.

— Хорь¹⁴!.. Сам комсомолистый вождяра!.. — заметался меж косарями по пригорку заполонный шлепоток. — Из самого района. К нам! Что-т большое в лесе сдохло!

Приезд незнакомыша всегда Бог весть какая новость в селе. А тут райвласть. Начальничий наскок смутил парней. Откинута работа. Все до пояса вростелешку, босые, будто с повинной посунулись вниз к дрожкам. Началюге подай свое уважение, иначе как? Обступили тесно Сергея, готовые к солидному разговору.

Только одна Поля все косила и не знала, как повести себя. Признать за знакомца, за собачанского соседущку? Неизвестно, как еще к тому отнесется Никиша. Никише она и разу не промолвилась про Сергея. Посчитала, а чего бутить лишний раз воду внапрасне? Может, больше и не увижу того Сергея. Ан судьба к самому носу с таким шиком подкатила его, разодетого в новехонький чесучовый костюм, в блестящие хромовые сапожики.

Поля стрельнула глазами. Взгляды их, пожалуй, не успели встретиться, как она угнула голову, сделала вид, что никого и нет поблизости чужого. Ради чего останавливать косу?

— По-оль! Брось-но махать, — шумнул кто-то. — Перекури.

— Я не курю...

К ней подошел Никита.

— Неудобно перед районным гостюхой, — вшепот долбит. — На кой ляд выкаывать непочтению? Поддержи коммерцию¹⁵.

Она выпустила косу на валок и пошла, босая, к кустарникам, где в тени на раскинутой холстине сидел Митя. Обхватив его, на боку сосредоточенно сопел во сне свекор. Вот еще бесплатное приложение! Увязался в чине няньки. Ну надо. Без вьнука не дохнет! Свились калачом и *нянчит*.

С проголоди мальчик ловчил впахнуть себе в беззубый еще рот отполированный работой большой стариковский палец. Пробовал его сосать.

¹⁴ Хорь — начальник.

¹⁵ Поддержать коммерцию — поддержать компанию.

Поля тихоко респечила дедово колесико рук. Ну спал нянь — как штатный ударник. Даже не шелохнулся.

Она взяла мальчика и стала за кустом кормить высокой грудью. Она кормила и думала, чего это через такой прогал времени нежданкой налетел Горбыль. По работе? А разве раньше не было работы? В прошлом году? В позапрошлом?

Долго рыскал он вокруг Поленьки, чужого лакомого пирожочка, да откусить и крошки не посчастливилось. Однако он все еще на что-то надеялся и уже не надеялся. Он искал эту встречу, ловил момент свидеться. А как? Открыто не подкачаться. У нее семья... Сам ты — комсомольский районный шишкарь. Столькое двинуть на кон? Восемь лет Поля замужем за другим. И за все восемь лет он не женился, все для Поли держал себя в узде. Он бы и дальше держал себя для Поли, не дал бы воли сердцу, но после вчерашнего ночь он не сомкнул глаз, все думал, как поступить, и — решил.

Он не представлял, как именно будет выглядеть эта встреча. Но только не так. Поняв, что Поля разыгрывает вид, что не знает его, он тоже пустился бить той же картой. Не знаю, не слышал, впервые вижу! Хорошо бы и ему повернуть да съесть. Эффектно. Но что подумают артельцы? Надо хоть видимость дела выдержать. Надо с народом поговорить и благопристойно отбыть.

Ораторствовал он про что попало. Что легло под случай, про то и барабанил. И про укосы, и про обязательства, и про виды на урожай, и про погоду, и про то, что она полями правит, и про... Ну чего с пуста не брякнешь?

Он понимал, надо ехать, хватит маять ребят болтушкой — и не ехал.

Его вдруг осенило.

— А думаете, — вскрикнул бесшабашно, — я только и могу, что про гектары да про надои? Иль я не деревенского выпуска?

Сергей смахнул с себя все до пояса. Теперь и он был, как все косцы, наполовину открыт. Никиша увидел, что долгая тоскливая фигура была в стройности лишь под чесучовой одежиной, а так в нем ни вида, ни стати. Никита не удержался. Бухнул:

— А в каком это погребе вы загорали, товаришок секретарь?

— В калачеевском. — Сергей осклабился, в бережи поднял Полину косу. — Пока сердце горячее — рискну.

Косил он занятно. Литовка то куняла носом в черняк, в чернозем, то на всех ветрах облетала его, Горбылева, на уровне пояса, облетала так сильно, что он круто заворачивался всем корпусом, точно она заносила, вертела его, и он ничегоньки не мог поделаться с сердитой, с норовистой косой.

«Мда-а, паря, ты не косец, а хренодел», — уныло подумал о себе Сергей. Он с завистью взглядывал мелко на уже косившего впереди Никиту, завидовал бронзе его ног (штаны закатаны под колени), завидовал, как коса у того проворной змеей сквозила под травинами и белой плеткой-молнией в мгновение выскакивала на прокос.

Следком за косой еще какой-то миг травы стояли на срезанных ногах. Это как человек, сраженный пулей, падает не сразу. Какой-то кусочек секунды он еще бежит в атаке вперед, бежит уже со смертью в груди, бежит за своей победой. Разве он думает о смерти? Но смерть-то уже навечно поселилась в нем.

Так споро, так легко все шло у Никиты, будто, казалось, он и не был причастен к волшебству своей работы, просто намахивал сказочной палочкой-косой, и уже вслед за ней травы со вздохом, покорливо ложились рядышком в валки.

Открыто смеяться над горьким залетным расхлебайкой не отваживались. Начальство-с! А потому, прикрывая рты кулаками, разошлись по своим местам. Мол, пляши, как знаешь, а нам не в час рвать над тобой, танцорик, животики!

Вождешок шел в последышах.

Его никто не видел кроме Полю.

Поля покормила сына и пошла к Сергею взять косу. Он был к ней спиной.

Искоса она видела, как он замахнулся ее косой, как потешно дернулся, обегая себя с косой в вытянутых руках.

«Цирк приехал бесплатный ставить, что ли?» — подумала она и, наблизившись, опустила голову.

И тут...

С разворота, уже теряя силу, коса клюнула своим носом Полю ниже щиколотки. Алая струйка нервно прочертила дорожку к ступне, зализалась под нее и копила уже там сбегавшую кровь.

Вывалил Сергей глаза. Откуда здесь взялась Поля? Откуда эта кровь?

Раскрыла Поля рот, но не крикнула. Зажала боль. Хватило воли смолчать. Иначе, что б случилось с Сергеем?

— Дул бы ты отсюда до горы, чертов помогайло, покуда никто не заметил. А то до худа недолго достать, — морщась, проворчала она, зажимая рану пальцем.

— Я тебе помогу? — расшибленно промямлил он.

— Напомогал, дундуля, выше глаз! Уходи! Уходи, пока, — глянула на весело работавших и не обращающих на них внимания косцов, — пока хлопцы не порвали тебе бока.

Она выдернула у него свою косу и, ладясь идти поровнее, покулюкала назад за кусточки к сыну. Там она заложила рану тряпицей, подержала, покуда не задалась кровь, и стала косить одна чуть в сторонке.

А Горбылев торопливо распростился и не поехал, а почему-то понуро побрел в сторону Калача. Конь шел за ним, скорбно покачивал головой и тоскливо по временам фыркал.

Дома Поля сказала, что и не знает, где это она подпортила ногу, что все это пустяк, и наутро снова засобиралась на покос.

— Вот это уже глупость! — накатился свекор. — Сиди дома. А то пойдешь за уткой — потеряешь лодку. Все одно дом не оставишь без глаза. Будешь нянькой за меня. Я сбегая скошу твое. Побуду хоть день комсомоленком.

Поля уступила, осталась дома.

С самого утра жарко разгорелось солнце. Она сидела на завалинке и пряла. Перед ней в колыбельке, что подвязали к суку груши, лежал Митя. Ее шатнуло спеть ему. Но что? Колыбельных песен она не знала.

Она задумалась.

Из какого-то дроглого марева зыбко повывдвинулись картинки ее свадьбы. Временами что-то виделось впроблеск четко. На удивление самой себе вспомнился кусочек одной свадебной песни, и Поля запела, слабо поталкивая люльку плечом.

А на гори дощик з росую,
Говорила дивчина с косую:
«Ой, коса ж моя кохана,
Щосуботоньки чесана,
Щонидилиньки квитчана¹⁶,
За один вичорок потирыана...

Пела она скорей себе, а не сыну. Сын уже спал в колыбельке, в обычной плетеной ивовой корзинке. После самого дома она была самая старшая, вторая в доме по старшинству. Ее не раз поправляли, подплетали новыми прутьями, и это не вредило ее особому почету, потому что в ней начинали расти все, кто жил

¹⁶ Квитчана — украшенная цветами.

и живет ныне в доме. Случалось, старик вгорячах выкидывал ее, дряхлую, за клюню. Проходил какой час, он летел за ту же клюню, проклинал свое легкомыслие. «Да в ней же весь наш род вырос, и не нужна? Помешала?» Снова поднимал ее на чердак, в теплышко, откуда ее еще раза три выбрасывали и скоро возвращали. И вот дождалась старенькая колыбелька нового жильца. Митенька сладко спал в ней. Подрагивали розовенькие ноздри, шевелились губки. Они пахли черносливом.

Услышала пенёе свекруха, подсела к настезь раскинутому окну, створки которого едва не касались Полиной головы.

— А ну тебя, Польшка, к коняам со своими жалобами. Сыграла б чего распотешного! Да и посматривала б, прядешь че. Прядешь же нитки, как куриные лытки. Больно натолсто.

Поля оглядела пряжу на веретешке.

— Разве это толсто?.. А истонко прясти — долго ждать, мамо. Ниче, сойдет. На зимние носки пустую, большь тепла будут собирать.

— Ну разве что на зимние... И что, ни одной охохошки не знаешь?

— Почему не знать?.. — Поля зарделась. — Знаю. Тилько як его петь вам?

— Да как можешь.

Разговор разбудил мальчика. Он неподвижно уставился на мать и не выказывал никаких чувств. Как бабка ни трясла ему рукой, как ни строила рожицу, упрямо не поворачивал к ней голову. Старуху это задело. Она дразняще выставила язык, высунулась до пояса и едва не выпала из окна. Это геройство, казалось, мальчик заметил, оценил любовь к себе бабки. Улыбнулся в награду.

— Так бы и давно-о надо, Никитыч! — поощрила бабка улыбку и позвала его к себе высохшими, тонкими пальчиками. — Ну, пойдешь к бабушке на ручки? За это я скажу тебе сказку про козу-лупоглазку, скажу другую про козу голубую...

За обещанием сказка не последовала. Мальчик же, похоже, лежал и ждал именно обещанной сказки. Бабка все уже свои сказки забыла, и Поля не знала. С благодарной теплотой старуха заглянула мальчику в синие глаза с отливом, неожиданно ударила припевку:

Мне сказали про милова —
Он черненький, маленький.
А я вышла посмотрела —
Как цветочек аленький.

Мальчик счастливо дернул пухлой ручонкой, обрадовался бабкиной выходке и разом потянул кверху обе ручонки. Подымите!

Поля поставила его на ножки, поддерживает широкой ладонью за спину. Он колыхался в кошелке, готовый упасть. Но еще больше, наверное, зуделось ему выстоять и услышать, как мать отвечает:

Пойду плясать,
Доски гнутся.
Сарафан короток,
Ребята смеются.

Бабка как-то лихостно скакнула в окне с ноги на ногу, в приплясе ткнула в сосредоточенно сопевшего внука рукой с платком.

Поиграть хотца,
Сплясать хотца.
Сбоку душка стоит,
Поплясать не велит.

И тут же дальше:

Эх, что стоишь
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь.

Поля повязала мальчику серую ленточку на левую руку. Разгладила эти часики.

Мой мил при часах,
А я при калошах.
Не любила я плохих,
Любила хороших.

Хвастливой оказалась и бабка:

У маво у милова
Четыре рубашки,
Еще пояс да ремень.
Пирменя каждый день.

Поля посадила мальчика на ладонь, гордовито подала в окно бабке. Полюбуйся, свекровушка!

Старуха наклонилась принять кроху — Поля отступила на шаг. Держала сына на вытянутых кверху руках, покачивалась, светло выхвалялась:

У нашего у нашки
На щеках-то ямки.
Много денег у него,
Выди замуж за него.

Старуха приняла в окно мальчика, поцеловала в коленку и, прижав к груди, загудела протяжно, просительно:

Проводи-и меня, Митрю-у-ушка-а,
Ночь темна-а, одной мне жутко.

Уставилась в глазики, затормошила:

— Никитч, ну доложь, как на духу, что ты думаешь про нас? Вот, скажешь, две здоровые долбежки в детство упали и выкачуриваются. Не так? Докладай...

Мальчик без доклада захныкал. Запросился к матери.

В панике бабка сунула в окно мальчика.

— На-кась, Полька, Митрофания Никитча назад. Все! Побегла на поклон к чузмазым чугункам. А ты... Скоро жнива... Подмети в клуне... Осторожней там. Намедни видала, как черти поблизу носили какого-то запорожца¹⁷.

— А-а!.. Поносили да и бросили. Унесли куда...

Подмести в клуне тоже дело.

И Поля мела, посадив мальчика у двери на серый платок, раскинутый в теньке у двери. Вдруг то ли ей чудится, что слышит, то ли в самом деле слышит: зовет ее кто-то. Вслушалась. Голос из знакомых. Выскочила из любопытства за клуню. Серега скок со вчерашних дрожек, подает поверх плетня узелок.

Опешила она, пристыла на месте. Подойти? Иль убраться к свекровке, подальше от трезвона? У нас же всякая травинка видит, всякая пылинка говорит. На полземли слышать.

Поля рывком повернулась уйти.

— Варакушка, — догнал ее повинный, горький голос, — пожди...

¹⁷ Запорожец (здесь) — непростеный гость.

Как резко пошла, так резко и остановилась. Повернула лишь голову. Кинула с плеча:

— Ну, стою. А дале шо?.. Чего ты по чужим по задворьям слонов слоняешь?

— Будто я и себе отвечу на такое... Спроси попроще что...

— Ищешь летошний снег? Ну?! Пустыня у тебя в голове! Зачем ты сюда?

— Вот зачем. — Сергей тряхнул узелком. — Бери.

— А что там за отрова?

Боясь, как бы и впрямь не навязал ей эту узлину через силу, она унесла руки за спину.

— Вчера... после... примчался в Калач. В аптеке взял, что нужно к такому случаю, и назад. Свечерело уже, чередой отпылила с пастыбы... Крутился вокруг вашей хаты до ночи. Думал, Боженька вышлет тебя, так отдам. Не выслал... Ни с чем и уплелся... Возьми узелок. В нем все такое от ранения...

— Чего удумал... У нас свои травки, баня... А этими лекарствами сам свои городские правь болячки. Во всем роду в нашем никто и разу не забегал в больницу... Уж лучше сознайся, внарошке, в отместку чесанул по ноге иль все ж по нечайке?

— Ничего себе нарочно! Да я в смерть напужался. Вот уж где ваньзя! Всю жизнь жил в деревне, а косу даже не умею держать!

— Посказал! На кой тебе коса? Ручку удержишь с перушком? Удержишь. Ручка и прокормит. Что тебе, грамотнику? Не нашего ты поля ягодка теперь. Городского. Калачеевского.

Сергей воткнул нос в землю.

«Это ни в какую гору не складешь... Р-раз и пересадила меня в городской огород кверху корнями. Живо-два отсадила от своего сердца... Из-за проклятой школы невзлюбил меня твой батяня. И все равно сунься я раньше сватать, отдал бы. Ну куда б он делся? А тут... Только на девятнадцатый годок взлез, ан слышу донесению: Польку выдали в Кривушу в Новую... Умылся Сережик... Не оставляй, горюша, свою любинку ни на день, если хочешь, чтоб она от тебя не ушла. Нестойкий элементшко женщина. Кто поманил быстрее, жалостливей, туда и побежала козлица капустку грызть?..»

Его молчание подпекало Полю.

— Чего молчишь? — спросила она. — Иль у тебя язык ниточкой перевязали? Подхвались, об чем твои думки?

— Да думка одна... Куда ни кинь, все клин, а рукав не выходит... Взяла б узелок.

— Зачем? Принеси в дом, як запоют? Где? Шо? У кого? Догадки пойдут. Клубок такой свертится, шо и окаянцу тошно станет, сорвет.

— Я вез тебе, неприступа... Ты не берешь... Так я его здесь и похороню. — Сергей набутусил губы, швырнул узел невдалеке от тропинки, где стоял, в крапиву, и уже оттуда, из крапивы, узелок смотрел сиротливо, заброшенно.

Сергей почему-то сравнил себя с таким пропавшим узелком, подумал о себе: отваленный, никому не нужный ломоть. Ему стало жалко себя, обидно за себя. Годы бегут, бегут сквозь пальцы, как вода, а в горсти жизни ничего не зацепилось, пустота.

Маятно и вместе с тем восхищенно-завистливо покосился на мальчика, — тот на четвереньках ползал по краю платка и не решался перескочить через толстенькие прядки бахромы.

— Как назвала баловушку?

— Митя.

— Воинственный... Дмитрий Донской... Богатая ты, счастливая. У тебя уже сын, продолжение твое.

Откровенная его радость как-то разом обожгла Полину колкостью, умягчила.

— Один сын, — зарделась она, — не сын. Это мне так говорила свекруха. Два сына — полсына. Кабы их три сына — полное хозяйство. А уж коли шесть сынов — три царя, три батьки!.. Не помирай мои соколики, небо б подперли...

— У тебя еще были дети?

— Были... Да Господь посетил, шестерых прибрал сыночков. Длинней месяца ни один не жил...

Слезы без спросу покатались у нее по щекам. Они собирались на подбородке. Поля тихо качала головой, слезинки бегали по его ободку, вытягивались и белыми копьешками сыпались в траву.

— Шо я про себя да про себя. Ты-то як там, в городе? Як склалась жизнь?

— А никак, Полюшка... С кем складывать-то?

— Парубок ты на лицо гарный, стати високой... На такой работе да не найти кого под пару?

— Работа... Ну, на людях все время. Правильно. Ну и что? Без тебя ненастье на сердце, так и в ведро дожди бьют... Вроде и хорошие встречались... А гляну раз, гляну два — нет, не могу и не хочу. Не лежит душа, хоть убейся... Коварная дама жизнь. Не дает сполна радости. В одном, кажись, уступила, лишку даже, может, плеснула. Так на другом так тебя ахнет, едва не все выплеснет из тебя. Судьба не любит своего терять. Вот я. Ворчал на меня прилюдно твой отец. А так, в глубине, привечал. И присватайся я раньше Никиты, взял бы в зятя. Не вскозырился б, не уперся бы против твоего желания. Было б, как ты хотела.

Поля грустно кивнула.

— А вкружило в комсомолий... Я ж в хуторе у нас не первый ли комсомолишка... до озверения активный... Двум радостям в одной душе не ужиться. Потерял тебя. На том и сел.

— Подай волю, я б ждала тебя, як обещалась. Но батько напрямую сказали: не пойдешь за Никития сама, отдам за столб, а в девках рассиживаться не дозволю. С-под батьковой воли иль выскочишь?

— Ты довольна сейчас? В радости живешь?

— А ежели б ще знатье, шо оно такое радость... Есть-пить вдохват, домяка царский... Всего до воли кругом. Наши все на коготочках передо мной. Так бы в грудной кармашек вместо цветка посадили да носили... Мне все это в муку. Я, правда, не показую, да от самой себя разь укроешь?.. И на золотую подушку слезе не заказано падать... Стороной слышу-послышу, как промеж собой молодайки говорят. Радуются не нарадуются со своими мужиками. А у меня по-ихнему ничего и близко не ложится. Все ровно, все прохладно, с какой лаской ни разбегайся ко мне мой. А чего я к нему такая, кто бы мне и отолковал? Он добрый, больной на работу... Дорогой любви стоит! Понимаю я то разумом, да сердцем того дать не могу. Не сердце, ком ледяной... Сердце у меня в мачехах... Твердили, стерпится-слубится, стерпится-слубится... Что же не стерпелось?.. Устала я. И черт так в ступке не утолкает... Устала от своей нелюбви, устала от брехни и себе и ему. Тольке молчу... Молчу, молчу, а там и вымою подушку слезьми. А там и поплыла моя подушенька с-под лица на моих на горьких...

— Эх, варакушка, затерялись мы с тобой две бездольные былинки в пустом темном поле. Какому ветру не лень, всяк нас долу гнет в дугу. А стань мы рядом, стань союзом, не ровнее бы стояли? Ровнее, крепче! Вдвоем мы крепче! Вот влети мы в *тот* хмельной апрель, на *ту* лесную стезжку, снова ускреблись бы домой разными дорогами? Разными?..

Медленно, твердо Поля повела лицом из стороны на сторону.

— Не знаю...

— Зато я расхорошо знаю, родинка... *Одной* дорогой ужгли б мы тогда на край

света! — вывалил он с горькой страстью и подивился себе: «Я ли молочу? Накопец-то рассмелел карасик...»

Она согласно, кротко мотнула головой, будто стряхнула тяжелые, смутные мысли, отнесшие ее куда-то далеко отсюда. Прикипела к Сергею тревожным долгим взглядом.

— К-край света?.. Где он? Мой край Манино... Там мама родилась, до замужья жила... Ну, Скрыпниково еще...

— А другому откуда взяться? Ты ж дальше этих деревнюшек не забегала.

— Не забегала, — торопливо подтвердила Поля. — И мы б в самом деле поехали? Яа-ак?

— Это просто. — Голос у него дрогнул. — Я бы, как писали в старых книжках, подал бы тебе карету...

Широким жестом показал на дрожки со здоровым жеребцом.

Поля подхватила Митю, спал калачиком на платке, неуверенно похромала через заднюю калитку к дрожкам. Любопытство подстегивало ее, и она уже боялась, что он скажет, что все это игра. Но он благодарно молчал. Она набавила сбивчивого шагу.

— Посадил бы тебя... — Сергей помог ей подняться. — Сел бы с тобой рядышком... — Он сел рядом. — Вот так... Вот так бы шмальнул своего коненка...

Сильный удар. Коня, которого никогда не били, кнут поднял на дыбки. Как бы падая с той выси, конь набрал злую скорость, с места рванул молнией.

По глянцевито накатанному проселку дрожки несли бешено, ныряли на редких пологих неровностях. Проснулся Митя, недоуменно уставился на мать. Казалось, он спрашивал: «Что же это вытворяется на белом свете? Куда это вы, малынька? С кем?»

Впервые не выдержала Поля сыновьего взгляда. Больней прижала мальчика лицом к груди.

Зыгравший ветер заставил ее посмотреть на себя. Только тут она увидела, что была босонога, простоволоса, в одном обляном ситцевом платьишке с короткими рукавами. Под ветром платье так живописно выказывало сладкие радости молодого упругого тела, что Полю кольнула неловкость перед Сергеем.

«Я совсем ни в чем», — пожаловалась она ему одними глазами.

— Эта беда до первого магазина!.. Поспеем в Калач к вечернему поезду!

Он вытянул жеребца по боку. Тот взял еще звероватей, еще шутоломней, будто тысячу лошадиных сил вбили в копыта. Конь летел, откинув гриву, и она, длинная, мифическая, вытянутая на ровно стонущем вихре, казалось, окаменела черным гребнем. Весь экипаж разлился в одну стремительную полосу, мчащуюся Бог весть куда, и спроси об этом ездоков, они б наверняка удивились вопросу и не смогли бы ответить. Однако они спешили. Куда? К чему? Что они делали? Всего этого у них и в мыслях не было еще несколько минут назад.

— В обрат! — Поля в ужасе ткнула раскрытой пятерней в мелкий, жалкий кустарник, который огибал проселок и из-за которого навстречу гуськом вытягивались к обеду косцы. — Давай в обрат!

Как же раньше не заметил их Сергей? Поворачивать поздно, увидели. Да и не уйти уже. До них метров каких десять. Проскочить! Он с особой силой, свирепо хлестанул жеребца, и тот, все еще не привыкнув к жестоким ударам, дрогнул, надал. Косарики со скошенными лицами метнулись с проселка врассып.

— Никишка! Твоя баба с малым на руках!

— Куда лукавый ее несет?

— Чтой-то делать надо!..

Дрожки уже пролетали последних косцов, как Никиша, шедший в хвосте, дикой кошкой кинулся к жеребцу на полном скаку. Мог он не рассчитать, мог об-

махнуться, угодить под ноги. Ан нет. Каким-то хватким, мертвым движением, каким-то магнитом — то ли то была случайность, то ли то была просто судьба еще рано погибать, то ли то была распрекрасная сноровка, нажитая во многие годы общения с лошадьми, — поймал Никита, замыкавший вереницу, буланого под уздцы, обвил ногами верх передних конских ног. А дальше? С раскачки выкружить на оглоблю, оттуда, держась одной рукой за дугу, другой за гриву, выдержаться на самый верх? Сесть верхи и перехватить вожжи?

А не проще ли болтаться у жеребца на горячей груди и, помалу опускаясь, сжимать ему ноги своими? В конце концов, сам не станет, так спутаю — свалится. Правда, на меня. И он на меня, и они на меня, и весь драндулетина.

Никита плотней уцепился одной рукой за концы удил, другую переброем на дугу. Судорожно прижался щекой к щеке коня. Фиолетово, устрашающе косил-горел над ним большой глаз.

«Родимушка... Ты не человек, ты все понимаешь без слов. Не сироти меня, уважь... Стань... Зачем ты ее увозишь? Я без нее и дня не выживу...»

Когда Никита повис на узде, Поля в испуге уткнулась Сергеем в плечо. Обмякнув, он выронил кнут и, обняв Полю, вжался губами в ее губы. Она не отталкивала его, а только плакала и в полуобмороке подставляла поцелую губы.

«Коник, золотце, что за гидру ты к нам привез? Я ж этого твоего водырька уработаю!.. Согну в дугу и концы на крест сведу. Я венчался с нею, а он целует... Это я из него соком выжму. За таковское мало всего выпотрошить да соломою чучело набить. Тебе не видно... Я вижу... Це... целует... Перед смертью разбежался надыхаться...»

Гася бег, конь заржал, изогнул шею, будто и впрямь хотел увидеть целующихся.

Напоследках дрожки остановились.

Сзади набегали косяцы. Уже долетал вязкий стукоток босых ног по глянцу проселка, слышались сопенье, выкрики:

— Во-от так гоп со смыком!

— Ну и молодайка! Вся в грехах, как в репьях!

— Да оно как и судить... В молодости и курица озорует.

— Ай да комсомолий-пособничек! Вчера приплясывал перед бабьей косой, а нонь саму всю бабу угреб!

— Игде коммунака лисой проидеть, там куры три года не несутся!

— Выкрал ястреб курочку! Разогнался целовать до последнего перушка!

— Ничо-о... Зараз толкач муку покажа!..

— Он ишшо рылом покопает у нас хренюк! О-осподи, благослови! Эв-ва-а!..

Тычок косовиной в затылок был изрядный. Сергей резко выпрямился, судорожно хватнул воздуха и посунулся с сиденья. Ткнувшись ничком в конский зад, вальнул мешком вбок.

Поля явственно слышала, как голова глухо стукнулась о железо колесного оброча. Вся она угнулась ниже к Мите, раскрылилась орлицей над ним. Ждала удара, защищающая в последний миг сына.

— Петруха! — гаркнул Никита на медвежеватого молодого увальня. — Ты что, блиноцап, мозгой тряхнулся? Ты зачем его огрел?

Подростерялся как-то Петруха.

— Да не грел я ишшо... Нужон он мне. Я только так... пристрельнул... Починишко положил... Он и рад, сразу с копыток. Хилеватый на расправушку...

— Тебя никто не просил... Он-то при чем? Сученка не запросит, у кобеля не вскочит. Не трогать!

— Свято-оха! Он тебя в позор втолок по ноздри, а ты...

*Ты прости, село,
Прости, староста,
В края дальние
Пойдет молодец.*

Наперед Поля молва вломилась в Криушу. Молва пеше не ходит, молва угорелой сорокой напрямки со двора на двор, из хаты в хату, из окна в окно лезет.

— О! Видали! Как Полька с этим с куриным жеребчиком из района... И не варили пива, да наделали там ди-ива!..

И следовало такое прибавленьице, отливались такие новые колокола, что только остается подивиться, как молодая жена все еще смела ходить по земле. Давно, ах, раздавно, гневилась толки, надо упечь ее живьяком в самое в главное пекло.

Отходили дни.

Молва все таскала небылые слова. Что же делать? Всякому на роток не вскинешь платок. И Поля, и Никита, и старики почернели с лица.

Едва отмолотились, старик и скажи Никите:

— Худую молву, елка с палкой, эту злу траву, скосить можно лише чужой стонкой.

— Отец, нет в вас христианской души. Это ж намек. Кидай родителей домок да с глаз вон? Не так ле? — в растерянности спросил сын.

— А то ж как еще? И чем дальше, тем лучшей. Что вам-то? Кости молодые, руки в крепости. Завербуйся куда, и с Богом. С отъездом хула примре.

Ранней ранью, на самой кочетиной переключке, Поля и Никита унеслись в Калач к уполномоченному по переселению.

— Сам Днепр! ГЭС строить?

— Не. Не пойдет, — отмахнул Никита предложение уполномоченного. — Это ж где-то в недалежней стороне. Тестюшка чумаковали, так говорили что-то за Днепр. Нам понадальше куда.

— Ну, Ростов. Сельмаш.

— Не. Мимо и Ростов. Это ж такая близь! Слыхал я про Ростов. Нам и слыхом чтоб не слыхали!

— Аллах его ведает, чего вы не слыхали... Не желаете юга — есть набор на север. Ну, Заполярка вот... Заполярушка... Ковда, лесозавод семь... Полгода — ночь... Во козырь какой!.. Не греет?

— А где это?

Уполномоченный — молодые застали его за чисткой на себе уношенного, с блестящими пузырями на локтях пиджака — ударил щеткой в самый вершок карты во всю стену:

— Тут ваш рай! От Кандалакши крючочек вправо... Натуральный край света! Вот то рядом голубенькое — Белое море. Одна вода и вода. А повыше туда и вода уже чужая, и земли чужие. В году одне сутки! Полгода день! Полгода ночь! Темней неш у волка в желудке!

— По носу нам этот табачок. Работа-то хоть какая?

— Королевская! — хохотнул уполномоченный. — Хватай боле — кидай дале! Какое дело у чернорабочего... Приходит водой лес. Надо разгрузить... Там новое. Распиловка. Распили весь его на нужный ассортимент. А там погрузи уже готовый распиловочник. С работой не соскучишься. Арабить придется по-черному...

— Нам не привыкать... Выписывай литер.

— Так и выписывай! — От удивления уполномоченный хлопнул щеткой по ладони. — Ты хоть утрудись — спроси в подробностях, что там да как. Думаешь,

мед? Думаешь, дело стало по большой ложкой? Северюга! Холодищи! На берегу моря завод придется еще достраивать. А потом и вкалывать на нем как сто китайцев! Не ручки с перьями со стола на стол перекаладывать. Работеха — черная ишачка, работеха египетская... Солнца по полгода не видют. Во льдах примерзает!

— Да не страдай, — повеселел Никита. — Не в грозу коту сметана!

— Я не стражаю, а с литером погожу. Чтоб потом не кляли. Неделю подумайте.

— У нас все давно обсказано-обкашляно. Неужель будешь год помечать, а два отвечать, утолкавши делу под красное сукно? Не тяни резину, порвешь. Рисуй давай лучше литер.

— За моим рисунком дело не станет... Мне надо еще в одной инстанции это ваше дело усогласовать. Думаю, все промигнется. Забегайте через неделю.

Но на второй день они снова были у уполномоченного.

— Отпихиваемся мы от Заполярки, — сказал Никита. — Дома в спокойе сообща посудили-порядили что к чему... Зачем нам своей волей в такие северные страхи вламываться? Рисуй на Ростов...

— Заходите через неделю.

Но ждать неделю не пришлось.

Через три дня, ночью, двое с винтовками постучали в окно. Им открыли. Те, зевая, велели собираться всем. Взять можно только по жалкому узлику.

— Собираться? — Посреди комнаты Головок раскинул мертвые руки. — За что?

— Он не знает за что! — помрачнели конвоиры. — Три годяры сибирского лесоповала отсидел ты или твоя кепка¹⁸?

— Но я отсидел! Свое!

— Вот за то и берем, что уже сидел... Плохо сидел... Ты отсидишь свое, когда поймешь, чего от тебя надобно. Сидел, сидел полные три годяры, а до мысли вступить в колхоз не досидел. Когда ты дозреешь? Когда в ум въедешь?.. Но у тебя пляшет выбор. Пиши сей менток заявлению о приеме всем двором в колхоз и падай спи дальше. Мы и одной твоей блошки не востревожим!

— Я без грамоты живу...

— Так мы за тебя напишем.

— От себя?

— Он еще зубы мыть! Собирайся живей. На сборы полчаса!

— Полчаса... Как жа так? Всем родом... Век наживай — и в полчаса все спокнь?! Дом... Амбар с новиной¹⁹... Коровы... Лошади... Быки... Мельница... Покидай кому на растаск?

— Не горюй, дед. Власть не даст растащить твое добро...

— Или она сама его и слопает?.. Так вьясните, за что вы нас угрбаєте посередушке черной ночи?

— За грубость. Ты власти не груби. Зовет тебя власть по-хорошему в колхоз — иди смирно. Не кочевряжься...

На их красном вагоне было мелком нацарапано: «Скоропортящийся».

Ни в долгие дни, пока красный состав тащился на север, подолгу отпихиваясь в тупиках суматошных станций, ни после, в бесконечные заполярные ночи, Никита и словечком не намекнул Поле про ее грех. Напротив. В чужедальной стороне он как-то ясно почувствовал виноватым во всем себя. Ну да, говорил себе, оставаясь наедине со своими мыслями, если подумать, так разве ее не понять? Она ж

¹⁸ В годы войны (при военном питании) лагерники называли три недели лесоповала сухим расстрелом. (А.Солженицын).

¹⁹ Но в и н а — зерно нового урожая.

честно созналась в первом же день, что любит другого. А любивши да разом с корнем из души — это только у того и получается, кто вовсе не любил, кто только трещал про ту любовь. Разве она что-нибудь скрывала? Врала? И если по старой памяти Горбылев забрел на старую стезжку, какой я судья в этом клубке бед сердечных? Отлепись я от нее сразу, она, может, и дохороводилась бы до венца со своим Сережином. А раз я сам полез к ней не силком ли, взявши в помогайлы жадину ее батечку? Кого теперь винить кроме себя? Досталась гадине виноградная ягода...

Конечно, ягода Поля. Его сжигала жажда поскорей замыть свою вину перед ней. Если в Криуше он раскладывал работы на мужские, на женские и уж не за свою и за золото не брался, — мог и отец подструнить, или ты не казак, что за бабьи хлопоты хватаешься? — то теперь, оказавшись на заполярных высылках, зажили они ладней, согласней, и Никита не различал, где в доме чья работа. Подбегала свободная минута, ломил все подряд. И обед сварит, и пол помоеет, и пристирнет что по мелочи, и ночью к ребенку встанет, покачает... За старушкой-матерью шибко не разгуляешься. Часто и тяжело она хворала, ей самой нужна была подмога.

На вторую весну, в мае, нашелся у них Глеб. Три года спустя родился и третьяк, Антон. Вот тебе и полное хозяйство в дому.

Может, так бы и примерзли, прожили б они за Поляркой, не получи однажды письмо от Полиных стариков. Сели читать. В обычае, Поля слушала, по временам просила повторить понравившееся или непонятное место. Непонятных мест было густо, потому что и из Никиты был чтец никудышный. На двоих один класс путем не кончили. Отходил Никитка в первый до Николы, отец и скажи, хватит попусту жечь монастыри (протирать штаны), и этого довольно за глазоньки. Читал Никиша по слогам. Длинное слово бралось с отдыхом посередине. Пока одолевал он конец, Поля порой умудрялась забыть начало. Разгадывалось все сначала. Сам Никиша, еле-еле разбирая руку Анюты, Полиной товарки, сестры Сергея, — она писала старикам под диктовку и читала ответы, — трудно вникал в соль письма. Почти вся его энергия уходила на прочтение, на выкрикивание раскрытых с превеликим усердием слов. Казалось, Анюта в зло писала так, что сам архиерей не поймет. Даже Поля деловито пускала глаза в листок, манило помочь мужу.

Весь вечер забирало письмо. Прочитав его раза три, Никита выучивал его чуть ли не наизусть. И если потом Поля спрашивала про что-нибудь из письма, он не лез в конверт, куда складывали все собачанские и криушанские грамотки, по памяти говорил интересное ей место.

Обыкновенно, получение и чтение письма превращалось в маленький семейный праздник. Как-никак вестонька с родины. Из ДОМУ!

В противовес прежним эта читка вышла какой-то невеселой, смятой.

Никита невпопадку повторял не ясные Поле места, проглатывал целые слова, не то что окончания, все спешил отпихнуть письмо в сторону. Поля уже привыкла к Анютиной руке, знала, что та всегда кончала одной и той же привеской «*Писала Анюта*» и тут же ставила дату. На этот раз ниже даты курчавились еще строчки. Совсем другая рука. Четкая, уверенная, смелая, сильная. Полю заподкусывало разведать, что ж то за слова, кто писал. И чем ближе подбирался к той прищепке Никита, тем все заботливей, все просительней заглядывала она ему в глаза.

— «*Писала Анюта. 15 мая*». И все... — Никита воткнул письмо в конверт.

— На этом все?

— Добавки не прислали.

— А под Анютой, под числом что подлеплено? И сбоку еще что-то, на поле, поперек? Рука совсем свежая. Другая.

— Руки все одинаковые. Непонятные.

— А ты всежги своими словами скажи, шо там.

— Да ничежо стоящего. Про порядок в танковых частях... «У нас все в порядке». Очень интересно?

Чисто бабьим чутьем уловила она, что бухнул он то, чего не было.

Бухнул и заалел. Вранье ему не давалось.

— Ты сказал три словка, а там вроде до паралика было накидано!

— Растянуть, размазать можно и одно слово на весь лист. Не веришь, так читай сама! — Он угрюмо подтолкнул к ней по столу письмо и вышел.

Поле стало не по себе. Он что-то скрывал от нее? Что именно? Наутро ей пришла мысль показать приписку одной своей *письменной* товарке. Едва Никита ушел к себе на распиловку в лесопильный цех — обычно он уходил первым, по пути заводил Митю в детский сад, — кинулась она к конверту. Вчерашнего письма не было.

«Старые письма годами целехоньки, знай себе пыль копят, а это в мент исчезло? Да что в нем такое было? Тут какая каверза да и буянит!»

Чутье не обманывало Полю.

Ни звука не сказала про пропавшее письмо. Под сурдинку наладилась ждать, как оно все покатится. Заприметила: стал ее благоверушка какой-то рассеянный, все больше молчит. В лице толклись досада, недоумение. Казалось, недоумевал он только потому, что тайл от жены что-то такое, что никак не мог ей сказать, и это вынужденное молчание угнетало его, било.

А в конце нового письма была эта большая приписка, которую Никита не своей волей скрывал от жены.

«Никиша, сынок, — сообщал милый тестюшка, — тольке на той неделе отписал под диктантьям вам свою писульку, а уже соскучилси, как малое дите. Наехали мы сегодня с хозяйкой на секунд к вам в Новую Кюришу. Постояли на вашем меловом бугре, на милой вашей Лысой горушке, посмотрели на вашу усадьбушку и все в нас заплакало... Спускаться к соседям вашим побоялись — еще неизвестно, что потом бы связали... Сынок, где усадьба ваша жила — теперь голая ладоша... Дом ваш взял себе колхоз под правлению. Землюшка ваша при доме брошенная плачет. Обижают ее осот, лебеда, лопух, незабудь, калачик... Я писал уже, скот ваш колхоз прибрал. Колхоз прозвание имеет «Безбожник». Ох, «Безбожник», он и есть безбожник.

По обычаю, писала вам письма под мой диктантьям Анята. Написала она и это письмо. Я его не отправил сразу. Отложил. Сегодня у меня писарчук надеженец, я и говорю, чего б не сказал при Аняте. Она писала, писала, много пустого места осталось. Не пропадать же, я и диктую еще. Ты это Полюшке не читай пока.

Не соли лишний раз душу... Добежали до нас окольные слухи, нету Горбыля в Калаче. Перебросили не то в Нижнедевицк, не то в Лиски, не то за Лиски. Можя, возвратнулись бы к нам? Мы с хозяйкой истаяли, как воск. Ишшо не таять! Нам же в субботу будет по сто лет. На том свете семеро колес объездили, никак не сыщут нас, а мы-то еще на этом свете. Я совсем слабкий... Кабы человек, а то хуже нашего старого кота. Старость, сынок, не младость, не красные дни. Поджалели б нас, возвратнулись. А Полюшка не захочет, не сымайтесь с места. Было б вам хорошо, а нам и Боженька подхорошит...

Вчера полез на печь, подул ветер навстреч. И надул мне в уши... Что вы вцепились в тот север, как грешник в праведника? Грешника еще поймешь. В рай за компанию разлетелся пролизнуть. А вот вас я не понимаю. Что вы, каторжанцы, убегли в холод? На север по тюрьмам засылают, а вы своей волькой туда вскочили! Скажете, как же это своей волькой, раз нас под ружьем на спецпоселенку... на те чертовы выселки везли?! Смехота куриная эти ваши выселки! Вы б наших по-

кушали, хоть нас никто куда не выселял! Время какое отбежало, и только теперь видишь, что *все мы* на высылках. Только вас кудай-то вывезли, а нам наши высылки подали дома, до-ома... Вот так я сверяю и вижу, что ваши высылки слаще. Вы не стали вступать в колхозий-бесхозий и правильно сделали. Вы там свои часики отгрохали на лесозаводе — и вы в свободе. А мы у себя дома? В колхоз столкали, как щенят слепых в отхожую яму покидали. Цвети и пахни, Владимирушка! До последнего обобрали. Всю живь, все зерно под метелку выдрали... Вы по часам отбываете свой завод. А мы горбатимся с ночи до ночи. А за что? За палочки-стукалочки! Палочек тебе можно с миллионий нарисовать. Только на них и мешка зерна не дадут за год. Что с огорода у хаты сгребешь, то и твое... Ни выходных, ни проходных... Беспросветь вечная. Так чем ваши высылки не лучше наших? Охо-хо...

В Кriuшу вам не к чему возврататься. И в Собацком вам делать нечего. А что позвал, так это так, от дури старческой. Ну чего вам, молодым, тонуть вместе с нами в нашей общей отхожей яме? Можя, перемахнете в тепло в Казахстаний? Бабка Олена уже тамочки коптит свои косточки. Дед ее Борохван пример, угорел на службе. Пошел сторожить, уснул в певчей и позабыл проснуться. Горе какое... Детишков у них не было. Оленушка-свахонька и съедь к замужней приемной дочке-выселенке куда-то в Казахстаний. Видишь, дочка — выселенка, Олена — вольная, а живут под одной крышшой. Навприконец вы тоже выселенчуки. Начальство ваше разве не отпустит? Какая разница, где жить: на высылках в Заполярье или в азиатском тепле. Так у вас козырь какой. Трояшка детишков! Все про Олену, генералиху над дочкиными детьми, знает мой новый писарчук, в новом письме он даст точный ихний адрес. Спишись, уведай все до точности. Понаравится, можя, и скакнете на теплышко. Внукам там было б ладно...»

Кriuша отпала сразу. Ну с какими глазами ехать домой? Все ж травинки знают, от какого сраму убежали. И нате, явились, как красны солнышки... Не станут ли Горбылем стебать по глазам? В сторону и Казахстан. Что мы там забыли?

Но примерно через месяц пришло новое письмо от Полиных стариков с припиской поперек. На полях. Снова была рука не Анюты, а надежного писарчука. Не читая вслух адрес-приписку, Никита мрачно отбубнил письмо, тут же его сжег и тайком от Поли каракулисто настрогал бабе Олене целых полтетрадки. И как только отнес бегом на почту, стало легко, ясно на душе, будто уже получил ответ и было в ответе все как хотелось.

Не удержал себя. Однажды невзначай возьми и ахни под настроение:

— А чего б нам да не увезаться куда отсюда? Лично у меня один глаз на Кавказ, а другой на теплые воды!

— Кавказ? — удивилась Поля. — Зачем?

— И правда, зачем? — Он спутал Казахстан с Кавказом. Подумал и не стал ничего уточнять. Весело подпустил: — Ну как зачем? У нас три женишка. Что им в промозглой ночи преть, в вечной темноте в этой? По полгода без солнца!

— Зато полгода и ночью солнце! — возразила Поля. — Спать при сонци.

Было в доводе Никиты что-то дельное. Тогда чего он о солнце молчал раньше? Солнца не было и раньше по полгода, хотя ребята и были.

Между тем разговоры эти вылезали все чаще. С ними выклись. Склонилась к переезде и Поля, и вопрос всего стоял в том, куда ехать.

— Непременно в теплую сторону. На солнце! Мы живем для ребят. Ихнее здоровье — наша главная забота.

Поля не возражала. Однако север ей нравился. «Обживешься — думала она, — и в аду рай...» Здесь обрела она равнинный, душевный покой. Здесь пережила

полную радость материнства. Здесь наконец ей нравилась и завод, и люди, и поселочек, покрытый весь досками, где никто не видел на улице ни земли, ни асфальта. А доски, доски, доски одни кругом. В досках тротуары, в досках улицы...

Никита с Полей пришли по обычаю отметить — отмечались они в комендантуре дважды в месяц, — а отмечальщик, кротоватый, заплывший ленью и жиром коротенький старик, и скажи:

— Пятачок ваш истаял... Что думаете?

— Откуда взяла, туда надо и вернуть, — сказал Никита.

— В Новую Криушу?

— А хотя бы...

— Для Новой вы умерли навсегда! Ниоткуда ни с кем из Новой никакой переписки! Даже в гости туда на минутку нельзя! Ни-ког-да! Нарушите наш закон — схлопочете лагерей!

— Но мы отбыли свое!

— Свое вы отбудете, когда... — он сложил руки на груди и полусонно всхрюнул. — Не забываетесь, граждане ссыльнопоселенцы. Ссылка вам продлевается еще на пять лет. А там продлят еще... Песенка эта из рода вечных-бесконечных... И чтоб не было соблазнов...

Комендант положил перед ними по листочку с каким-то текстом.

— Расписывайтесь.

Никита насупился, дернул носом и чиркнул свою завитушку. Вспотев, Поля поставила крестик.

— Вы расписались за то, что обязуетесь хранить тайны до могилы. Первая тайна та, что вы были раскулачены. Ни-ко-му ни слова, ни звучика. Даже родным детям. Даже через сто лет! С нового места высылки никуда ни на шаг. Наш незащипанный глаз вас видит всегда и везде... Побег с высылки — строгая камера хранения²⁰ Вы предупреждены. Думайте, включайте мозги. Ваши головы пока с вами...

— Мы бы хотели уехать к знакомой в Казахстанец, — сказал Никита. — Тепло... малые парни...

— Хорошо, что сказали. Никаких знакомых! Казахстана вам не видать. Поедете, куда там, — он поднял указательный палец — велено. Заботливая власть об вас уже подумала. У вас трое малых детей. Надо вам в теплую сторону. Власть поматерински узаботилась об вас и выписала вам литер в кавказский край-рай... В Насакирали... В тот совхоз свозят лишь завербованных да ссыльнопоселенцев... Работать надо невпритвор, это вы можете... доказали... Работа на отпад... не замерзнете... Молодые, честные трудари... Понравится... И главное — южная местность...

И комендант, белобрысая чухонь, так расписал грузинский малярный совхоз «Насакиральский», что молодые приняли его за рай. Ну как же не рай, раз теплышко, шапок покупать не надо! Вокруг леса. В лесах всякой ягоды на полный год под самое «благодарю покорно» наберешь. И потом, богатые валят деньги, если на солнце все поглядывать²¹ не будешь. Но разве привыкать волю к ярму? Работы Никита с Полей не боятся. Не из пужливых.

Совхозишко лет с пяток как завязался. На холмах сводят кустарники, по низам сушат болотину. Расселяют чаек, мандарины, тунги.

С марта по глухую осень мужики в одних рубашечках. На Октябрьскую девчонки без головы²² в платишках в летних картинничаят. В феврале фиалки цветут! А

²⁰ Камера хранения — тюрьма.

²¹ На солнце все поглядывать — лениво работать.

²² Без головы (*здесь*) — с непокрытой головой.

снежок ежель и падет ночью, к полудню испарился. И вообще снег там в праздник, солнце за обычай. Иначе разве б купались по полгода в Скурдумке, в Супсе? Эти речки омывают совхозные закрайки. А ж-жалаешь, можно на море дернуть. На Черное. Близко! В каком получасе на поезде. Но зачем поездом? Бывает, по воскресеньям совхоз катает на своих машинах. Купайся на халывушку до утопа!

И через всю страну посунулись молодые северяне в слезах с Белого моря на Черное. Стариков-то, стариков от них оторвали и одних воткнули в Сибирь... Без права переписки...

Только-только вросли Долговы в малярийную грузинскую гниль, ан разлилась война.

9

*Все постоянно лишь за морем
И потому, что нас там нет.
А между тем, кто минут горем?
Никто... Таков уж белый свет!..*

На третий день войны, во вторник, Никиту позвали повесткой в военкомат, в Махарадзе, и комиссия всей-то час вертела его так и эдак, но из-за опухоли на ноге ни под какую статью не поджала, отбраковала. А он был уже рад-радешенек сунуть голову парикмахеру в коридоре. Едва вываливался от комиссии признанный в годные, как крюковатый ветхий цирюльник подманивал бледным пальцем — а давай-да бумажку! — и в согласии с той бумажечкой слизывал чуприну. «Вот подберет мне космочки старинушка... обрядит... На войну надо при полном параде, в опрятности!»

Домашне, просто сказал военком:

— Вот подживет ваша нога, месяца через четыре призовем в конники. А пока идите, растите деток, припасы какие делайте для дома.

Выбрел Никита во дворок, привалился боком к штакетнику, никак не придет в себя от комиссии. Мятажные глаза ловят, как катят с порожек все чистенькие, от парикмахера все уже, и обида затягивает его.

Как же так? Изо всех призывников один только он в негодности, один только он мимо парикмахера? Неужели он хуже всех? Ни в избе, ни во дворе?..

С приступок уныло топает Анис Семисынов, первый его в совхозе закадыка. Никита с Анисом с первой встречи хорошо вошли в дружбу. Земли-воронежцы. Слегка родня. Свои. Анис лохматый, неприбранный.

— Ты чего некошенный? — хмуρο допытывается Никита.

— Как же мне быть кошену, ежли на тебе сломалась у дедка машинка? — постно отшучивается Анис.

«Похоже, не последняя я спица? Не одному мне отбой?» Просторная улыбка трогает Никиту:

— Если б да кабы во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а был бы огород! Выходит, из всего совхозного калгана лишь ты да я мимо стригалья стриганули?

— Выходит... — Анис надломленно кривится. — Как сказали, что погодят брать, у меня с удивления рожа на шестую пуговицу вытянулась... Состряпали таракана с лапами... Айдаюшки глянem, что за лапы у нашего у таракана...

В магазине Анис добыл бутылку красенького, прозванного одним стриженным *чтоб пуля плохо брала*, да по смоченному яблочку, хлестнули прямо из горлышка, не траться и не прося ни у кого стакана. «Мы не стакановцы!»

Потешно было Анису со стороны наблюдать, как это Никиша, и в рот не бравший бабьи слезки, вдруг на радостях дернул горнистом полбутыли, и теперь, отписывая кренделя, усердно норовил шествовать как по струнке, но питое из горлышка срезало его старания на нет, бегом заводило то в канаву и тут же бегом выносило, то толкало с силой вперед, так что он несколько пробежал спорышным коником, то вдруг ни с того ни с сего заставляло сделать широченный резкий шаг в сторону. Он добросовестно, послушно его делал, а сделав, случилось, останавливался и думал, что это он такое делает, зачем делает, однако скоро забывал, о чем думал, и снова пробовал взять шаг к дому. Зуделось ему показаться перед Полей отчаюгой. Она никогда не видела его подогретым. Так пускай увидит!

Он отрешенно-бойко вскинул ногу, хлопнул под нею ладошками. Назидательно погрозил пальцем ворчавшему за плетнем псу:

— Не бойсь... Я не тро... не т-трону...

И запел рычащему псу, вселюбовно раскинув руки:

И-ие-ехала д-деревня м-мимо м-мужика-а,
Вдруг из-под с-собаки-и вышли в-ворота...

— Анисушко! Что-то на душе душно... А не смочить ли моим «Дождичком»?

— Это можно...

Красивым, вязко-бархатным тенором Анис запеваёт про осенний мелкий дождичек, что сеет, сеет сквозь туман. Никиша сомлело вслушивается в начальные слова, угрюмо подхватывает и себе. Песня эта у него первая. Пел один, любил петь ее с Анисом. И не понять Никите, почему эта жалоба о безответной любви умягчает его душу, поталкивает к слезам.

С посуровевшими лицами долго брели братилы молча. Каждый думал свое. Худо-бедно, все было ясно еще позавчера. Заведенная пружина жизни раскручивалась привычно. Работа. Дом. Семья. Война же сломала все. Что с ними будет через месяц? Через день? Через час?

Как-то разом, не сговариваясь, в один голос запечалились они мучительно-бездольно:

Ах как далече, далече в чистом поле
Раскладен там был огонечек малешенек,
Подле огничка разостлан шелковый ковер.
На ковричке лежит добрый молодец,
Припекает свои раны кровавые.
В головах его стоит животворящий крест,
По праву руку лежит сабля острая,
По леву руку его крепкий лук,
А в ногах стоит его добрый конь.
При смерти добрый молодец сокрушается
И сам добру коню наказывает:
«Ах ты, конь мой, конь, лошадь добрая,
Ты видишь, что я с белым светом разлучаюся
И с тобой одним прощаюся.
Ты зарой мое тело белое
Среди поля, среди чистова,
Среди раздольца, среди широкова.
Побеги потом во святую Русь,
Поклонись моему отцу и матери,
Благословенье отвези малым детушкам.

Голоса напитались слезами. Стыдятся они друг друга, каждый норовит дергать лицо в сторону, хотя и идут рядом, плечо в плечо, сплетаясь руками.

Да жемии моеи молодой вдове,
Что женился я на другой жене.
Во придано взял я поле чистое,
Свахою была калена стрела,
А спать положила пуля мушкетная.
Тяжки мне раны палашовыя,
Тяжчее мне раны свинцовыя.
Все друзья-братья меня оставили,
Все товарищи разбежались.
Лишь один ты, мой добрый конь,
Ты служил мне верно до смерти
И ты видишь, мой добрый конь,
Что удалый добрый молодец кончается...

Домой Никита втащился вечером, уже все вернулись с чая. Неуверенно-озорным, заносащим из стороны в сторону шагом не переступил, а как-то торопливо перепрыгнул порожек, будто об него споткнулся. Под Полей подломились ноги — видеда впервые мужа вросхмель.

— Ой, лишенько! Иля ты увэсь пьяный?

— Нехай буду пьяный, — готовно согласился он и, выставив одну ногу вперед и избоченившись, качнулся петь:

Чоловік²³ сие гречку, жинка каже: «Мак».
Нехай так, нехай так,
Нехай гречка буде мак.
Чоловік поймав щуку, жинка каже: «Рак».
Нехай так, нехай так,
Нехай щука буде рак.

— Ни кие, ни меле... — расшибленно загоревала Поля. — В ноль напился! В лапшу увэсь пьяный.

— Н-никак н-нет, — галантно возразил Никиша. — Слегка тверезый. А с чего быть пьяну? Подумаешь, налиховал... колупнули по масенькой... В кружку, Полянчик, не без душку... Особо не печалься. Мужик не лешак, больше ведра в сутки не пьет.

— Всадил же Бог душу, як в дуплястую грушу! Не комедничай. С каких это радостей накуликался, як зюзя?

Заморгал Никита, будто дивясь, а чего это и впрямь налимонился он, но тут же неестественно ровно выпрямился, сосредоточенно уставился в пол перед собой. Словно думу великую думал, проронил:

— Это чтоб примета твоя сошлась... Сама ж убивалась, а чего это не получает, как мама говорила. А мамычка твоя сочиняла библию будь здоров. Любит мужик соль — склоненный к пьянке! Сольку я, сама знаешь, обож-жаю. Чего ж мне ломать народово примечание? Вот я и...

— Э-э, хлопче... Тебя послухать... Ни Богу свечка, ни черту огарок. Кругом беда, а он... Тошно!

— А тошно, так дай ведра, принесу воды. Зальешь тошноту.

— Воды и без тебя на потоп хватит. Сама нанесла. Ты лучше с Глебом сходи на огород да молодого наломай пера.

— Луку так луку...

Минут десять спустя отец и сын шли по берегу Скурдумки, богатой раками и до смеху мелкой рыбешкой с палец. Большеи никто никогда здесь и не лавливал. Еще речка была богата камнями. Через одни вода как-то беспечно, дурашливо

²³ Чоловік (укр.) — муж.

переваливалась, вжимала в свое дно. Других, высоко выступавших, величественных, она боялась. Низко, точно в поклоне молчаливом, виновато, заискивающе обмякло обнимала-обегала камень, обнимала и боялась. Благополучно обежав, за спиной у камня вода смелела, снова пенисто смыкалась и что-то лепетала. Что было в том лепете? Жалоба, восторг, скорбь? Поди пойми язык воды.

А жила река среди гор. По ее тощей долинке люди расквартировали огородишки. Долинка то почти слипалась, то разбегалась далеченько, и тогда молчаливые толпы гор отступали, подавались назад, сверкая на солнце царственно-могучими каменными лбами, подавались нехотя, в злобе, как подаются лошади, в скале мотая и дергая литыми пудовыми мордами. В непонятном чарующем беспорядке разметались горы окрест, будто кто гигантским бульдозером понадвинул сюда эти громады, изумительные, величаво-страшные в своей первозданной, светозарной красе.

У воды было прохладно. Уже ничто не напоминало о полуденном смертном зное. Подбитой птицей солнце свалилось за дальний утес, однако было еще светло.

Сутулясь, Никиша безразлично брел по тропке, в блеск выглаженной по огородным межам. Держался он обычно удальцом. Даже говаривали, вот бы хорошо к этой выправке в прибавку поддать росту да шири в кости, эким красавцем генералом смотрелся б Никиша. А тут вовсе скис, ужался.

Мальчик шел следом и в растерянности глазел на надлом в отце. Что варилось в отцовской душе? Понять того сын не мог своим маленьким рассудком, но уже хватило на то сердца, чтоб почувствовать, что у отца не все ладно. Тянуло спросить, в чем эта неладица, и не смел.

Тропинка воткнулась в речку. Никита обернулся, молча подал Глебке руку, чтоб перевести через воду по голому телу ольхи, перекинутому вместо мостка с земли на землю. Мальчик увидел, что небольшое скуластое лицо у отца было желтое; всегда огненно-живые, искристые, брызжущие весельем глаза потускнели, смотрели отрешенно и не двигались. Кажалось, из него вынули жизнь. Мальчик содрогнулся, ему жалко стало отца.

Боком, прощупываяще ступая по бревну, перебрались на тот берег и очутились у раскоряченного красно-зеленого шатра тунга, что потрескивал под множеством плодов, похожих на яблоки краснобокие.

— Вишь, сынок, как тяжело их держать, — глухо заговорил Никита, показывая на тунг. — Плоды — нужное всем добро. А от того добра видишь, как тяжело дереву? Так и человек... Добро добром живет... А тут... Сколь ни твори добра, сколь ни клади в него сердца, а ответного добра, хоть маленького просвета ну никакоечкого... И тяжело, и больно душе... А он не крикни. Не смей кричать про свою боль, не то хуже будет. И он молчит, молчит, молчит! Все терпит! Все-ео! А на кой, я тебя спрашиваю? Вот убрютю туда... Уж милей... Поймал первую пулю в лобешник — и весь расчетишко с нею...

— С кем — с нею, па?

— С кем? — машинально спросил себя Никита и осекся.

Сыну он не мог ответить. Ну, в самом деле, разве вывалишь шестилетнику свою душу? Разве пожалуешься ему на Полю? Ты перед ней на пальчиках, чуть на ладонки не положишь... Все стараешься, из кожи выскакиваешь... Смешно подумать. Четырнадцать лет они одна ложка, одна миска — одна семья! — а он все ее следы считает²⁴, все горит попасть ей в честь. Кто во всякое утро аккуратно, до сини выбрит? Кто подобран по-солдатски? У кого кирзовые сапоги во всякий день в блеске? Кто не зайвится в столовку или в магазин в рабочей одежде, а всегда только переодевшись во все чистое да наглаженное?

²⁴ Следы считать — сильно любить.

Удивался он за своей Поленькой как неприкаянный, горький жених за невестой. Только у его невестоньки было уже три женишка мал маламень. В чистоте, в душевной опрятности, в праведности подымал ребят. Не делил на любимчиков и нелюбимчиков. У него все равны. Сам стриг. Знал, кто какой носит размер одежды, обувки, и, покупай что из обнови, покупал разом всем. Никто не носил блатины обноски. Недовольных не было.

В поселушке не нахвалятся Поле, какой Никиша умница, какой уважительный, какой обходительный. Такого мужика посади только в угол да молись, нету ему равного по авторитету и у старого, и у малого. А Поле все то в пустяк, все то вроде так и надо, все то и норма, и никакой ему особой почести, и все-то она в холоде к нему душой, в равном душой. Ведь же и у воробья сердце есть! А где же ее сердце?

Поначалу, похоже, вроде стерпелось. Но коли даешь мед, подавай и ложку. Стерпелось, так в непременно должно и слюбиться. В свои тридцать три года он чисто верил, что непременно все слюбится. Трех богатыриков, полное хозяйство мужиков ему надарила. Все у нее у души лежат, все ей по сердцу не потому, какой палец ни зашиби, всяк больно, а лишь потому, считал он, что это *его* дети, что в них она любит именно *его*, что через любовь к сыновьям дойдет пора и до любви к *нему* самому. Еще спасительно думалось, может, стесняется Поля любви навывушку, нараспах. Поди, хранил обычай казачек сполна не выказывать мужу открытой любви, не распускает особо вожжи, держит меня как бы в прохладе? Так оно, сорочило старичье, надежней. Крепче будет мужилка почитать свою благоврку.

Он почитал ее до невозможности, ждал такого же ответа себе. Что за заноза сидела в ее душе и не позволяла ей шагнуть к нему в горячей радости?

И вот теперь, когда ударила, подпекла война, ощутил он неотвратимость рока, безысходность великой беды личной. Как-то враз обмяк душой, потерялся. Неужели вот так пойду и не вернусь? Не получивши полной меры любви? Не поднявши на ноги своих соколов?

Но, Боже великий, но, Боже правый, это сама судьба положила его желание в боговы уши. Бог вернул его из военкомата, вернул только на то, примозговал Никиша, чтоб вволюшку надышался он любовью своей жены-душеньки. Хоть и сказано, что перед смертью не надышишься, а уж лучше подышать, чем не дышать вовсе. Уж теперь не в пример другой станет ненастужка Поля: всякая великая беда воедино сливала русских людей, роднила роднее родного.

Он очумел, что его отпустили домой на целых на четыре месяца. На радостях плеснул в себя винца, этого бабьего переполоха, потому что слышал, к забавнице-присухе варяжистой подкатиться, пока задорит тебя веселуха. Тогда все полетит как по маслицу. Ему хотелось, чтоб все так и было. Размахнет он до пят дверь, любимка Поля увидит — Никишенька под мушкой, посмотрит именинницей, в восторге засмеется. Увевливо скажет, дуранюшка ты мой, ненаглядушка, что ж это ты делаешь, и преданно обнимет, поджалеец поцелуем, поджалеец отходчивой лаской.

Как же... До смерти уласкала гадким зюзей!

«Зюзя! Мокрый зюзя я ей, а не Никушечка...»

И такая в нем закипела обида, что просто в удивление, как это он вслух еще там, в бараке, не рубанул про ту пулю. Обида выпихнула, вытолкнула из него крик безмолвный поймать лбом первую же на войне пулю себе в вечные любовницы. Мало-помалу он уверовал, что короткое игрище с той пулей-любовницей у него еще впереди, смирился с этим, ждал его и боялся, что дождетя. Ослаб, обмяк духом, не удержался, проговорился сыну про свой расчет. И пожалел.

И пока ломали лук в соломенку-кошелку, и потом еще всю дорогу в обрат, Ни-

кита все сушил голову, как поделикатней умягчить парню смысл под запад выложенного, но так и не смог, досадуя на небогатый свой умишко.

Глебка нес на манер отца, на плече, кошелку с луком. Кряхтя, угинаясь под тяжестью, Никита впробежку тащил пень, прибило водой к огородному берегу. Не пропадать же добру, жалко. Печка зимой сожрет. Да и моим тепло. Он перебежал от елки к елке и отдыхал стоя, привалившись пнем на плечах к теплому телу придорожной ели. Он боялся бросать ношу на землю, потом ее не поднять. Уже у самого дома, в последний стоячий привал, Никита, откинувшись на пенек и отпыхиваясь, глухо попросил:

— А знаешь, сынок, ты не докладывай мамке, что я так сказал. Пускай это померт меж нами. Мы ж мужики, не брынчалки?

— Я не скажу, отеценька...

Глебушка сдержал слово, не проронил матери ни звука ни в тот вечер, ни после. Однако давящее чувство беды росло и росло в Никите, словно снежный ком, что катился с горы. Ком матерел, пучился, все толще наливался кручиной неминуемой разлуки с домом, с Полей. Не отходила сердцем, не оттаивала она. И по-прежнему была к нему ровна, прохладна. Это мучило ее, но что она могла с собой поделать?

Видел это Никита и с необъяснимым больным ликованием уже загодя выдерживал себя из этого дома, из этой семьи, в каждую свободную минуту выменивая по окрестным селениям пустяк зерна на свои личные вещи. Вещей становилось все меньше. Значит, и его самого оставалось здесь все меньше? Пускай. Зато больше хлеба своим на черный день!

— Никиш, — сказала Поля, — ты б уж не трогал второе свое пальто. А то ж все свои рубашки, кустюмы, сапоги вжэ повиытаскал. Все сменял! Ничо своего не оставил. Шо это на тебя накатило? Или ты не собираешься посля войны жить?

— Жить-то оно мне надвое помечено... Доведется... нет ли... Без пальта без моего не завянете. А не станет хлеба, тут уж не до пальта. Вот завтра в последний разок сбегаю в Мелекедурики и тем бал кончится. Трындец!

На работу, на чайную плантацию, которую мотыжил, он прихватил утром и пальто. Вечером, не заходя домой, упрясал в горы, в селение.

Начинало уже темнеть. Никто не брал то пальто, и все ж в Мелекедурах охотник-грузин наскочил-таки, дал три пуда пшеницы. Хоть и сдешевил Никиша, но отдал. На пустой карман и грош хорош.

Бодро молотил он домой и совсем не догадывался, что в те же минуты черной птицей постучала к нему в окно почтальонка Аниса, жена Аниса Семисынова.

Дрожащей рукой Поля взяла повестку. Румянец на щеках померк, лицо побледнело. Хотела что-то сказать, раскрыла рот, а говорить не могла. Будто задышалась, ловила ртом воздух.

— Да возьми ты себя в руки! — прикрикнула Аниса. — Не одного твоего утребовали. Видишь, какая кипища? Надо разнести. Завтра к десяти с вещами. Ох, Господи-и... Земля треснула — зверюга Гитлерюга напал. Зло-ой собаке мно-о-го надо.

Поля молча заплакала.

— Не опускай крылья, — жалела Аниса. — Чего так убиваться? Мой Анис — а плановали разом с твоим в конники брать — полные уже два месяца как воюет. Хорошо воюет. Колошматит немчурят и не жалуется. Только ленты в пулемете успевают менять. А вчера, слышь, письмо было. А в письме кусок голубой ленты. Это он Катюшке... Кабы ты видела, как она обрадовалась, как плакала с радости.

Поля и Никита не спали ночь, укладывали мешок, и не было такой вещи, что легла туда не окропленной жениной слезой. Он не ожидал, что вот так будет. Внове, в странность ему было, что за мерклым, тихим разговором она всю ночь проплакала. Казалось, этими отчаянными слезами она молила прощения за то, что была с ним и лишне суха, и лишне строга, и лишне холодна. Вот только поняла и жалею. Что же теперь сделаешь? Что? — спрашивали ее слезы.

Он мог читать слезы. Он все понял, пожалел и простил. Его душа успокоилась, зажглась верой в проснувшуюся взаимную любовь Поленьки. Он весь сжался, налился гневом. Теперь он знает, что будет до смерти биться вот за эти счастье дарящие слезы, вот за эти покаянные взгляды, вот за эти дрожащие в беде руки, вот за эти нежные прикосновения ее щеки к его щеке. Горло сжало комком. Стиснул мешок, куда в бережи опускались самые необходимые ему вещи, потянул к груди. Забыл, что это мешок, принял за автомат, готовый к атаке.

За эту ночь в нем сделался желанный переворот. Он пойдет *туда* не ловить первую попавшуюся вражью пулю, нет. Он еще так подерется, что ему никогда не будет стыдно ни перед этими слезами, ни перед вздыхавшими во сне своими тремя богатыриками.

Первый проснулся утром меньшек. Поморщился на еле мерцавшую на столе лампу.

— Ма, а на что ты плачешь?

— Как же не плакать, сынок?.. Батька от нас забирають на хронт...

Антон подумал.

— А что такое хронт?

— Это где война, сынок...

— А что такое война?

— Война — это где убивают. Война — самое погане слово.

Брезжил поздний дождливый рассвет. Пора была прощаться. Никиша посадил к себе на колени Митрофана. Митроша насупился, угрюм. Взгляд исподлобья.

— Разделался ты с первым классом на пятерки, — рассудливо, как с ровней, говорил Никита. — Похвальный лист ты уж и за второй выстарай, пожалуйста. Вот смотрел дневник, пока ты спал. Что ж, хорошо. Хорошо идешь и по родной речи, и по русскому, и по арифметике, и по пенью. Пятерики вкруговую. Так и держись дальше. Не балуйся. А то за громкое поведение да за тихие успехи живо вымахнут из школки.

Теперь ты самый старший в доме мужчина. Мужик Мужикович! Хозяйко! За что берешься — дожимай до конца. Будь аккуратец в деле. В ком да в кучку на скорую ручку ничего не ляпай... На твоей совести подмога матери, забота про младших. Ты понимаешь?

— Угу...

А Глебу отец сказал:

— Ты у нас теперь главная нянюшка. Некогда больше торговать воздухом²⁵. Смотри, чтоб Антошик рос у тебя без происшествий. Не обижай. Он самый малютенький. Три годущка малехе всего.

— Три-то три... Да дерется на все десять!

— А вот это твоя печалька. Отучи. Присеки хвосток. На то ты и нянька. Не доводи дело до сшибки, не будет драться. Не будет, отсохни у меня рукав!

Шутливый зарок подвесил Глебку. Он вопросительно быстро глянул на Антонку на постели (все трое ребят спали на одной койке).

— Ну будешь, сумкин сын, драться?

²⁵ Торговать воздухом — бездельничать.

— Не знаю...

Отец поманил по очереди к себе на руки и младшенького:

— Иди ко мне, маленький.

— Был маленькой, икогда в люльке качался. А тепере я большой! — отчеканил сердито Антон и надернул на лицо одеяло.

— Ты чего бастуешь? — спросил Никита и подождал ответа. — Ну чего молчишь? Коза язычок сжевала?

Боясь ухолодить сына, он сгреб его вместе с одеялом на руки, потянулся прощально поцеловать. И тут заварилось невиданное. Мальчик с ревом трубным стал вырываться, вывинчиваться из отцова кольца, отбиваясь руками, ногами. Теплые со сна пяточки остукивали отцовы руки, грудь, лицо.

Никита размыто улыбнулся, выпустил сына.

В одной майке, босой мальчик зверьком забился под низкий барак-мазанку, что стоял на столбцах не выше локтя, и уж из той засады ни одна живая душа никакими калачами не могла его достать. На все растерянные уговоры выйти кричал одно и то же сквозь ливень слез:

— Не пойду!.. Не пойду на твою войну!.. Не пойду!.. Я не пойду, а ты без меня не пойдешь! Айда не пойдём вместе!..

Мальчик верил, что отец, не простившись с ним, не пойдет ни на какую войну, а потому и не вышел из-под мазанки. Так Никита и ушел, не попрощался с сыном.

С ночи все подсеивал дождь.

По дороге в военкомат Никита говорил Поле:

— Вы тут не очень-то экономничайте. Не век нам с тем Гитлерюгой маяться. Может, вернусь, не успеете еще и то зернышко прибрать, что поприпас. Под завязку три чувала. Надолго потянет вам на четверых?

— Бери выше, Никиш. На пятерех считай. Пятый под сердцем ось туточки уже стукает...

Никиша опустил перед Полей на колени.

Сторожко приклонил ухо к животу и зачарованно вздохнул:

— С-с-сту-у-у-учи-и-ит...

10

*Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земле!*

Поля не знала привычку провожать ребят в детсад. Собрать соберет, выпроводит с крылечка, накажет Глебке:

— Ты гляди там за Антоном, не бедокурил чтоб. Поберитесь за руки та идить с Богом, хлопцы.

Говорила Поля мягко, уважительно. Знала Глебкин нрав. Скажи что не так, не по нему, колни только самолюбие — первые слова упрямика: «Не хочу! Не пойду!»

И не пойдет, и не сделает, хоть в лепешку перед ним разлейся.

Зато когда гордыня не потревожена, не пощипана, доверие греет его. По праву персональной няньки берет он братчика крепко за руку и вышагивает так широко, что меньшак бежит за ним полубоком.

Поля постоит, посмотрит вослед, вздохнет да и втащится назад в комнату.

Теперь ее нет дома. Однако в утренних сборах ничего не изменилось. Может,

набавилось чуть детской деловитости, взрослости. Собирает меньшего никто за Глеба не станет, это он делает сам, делает старательно, внешне иногда грубовато. Но это показная грубость. Не липнуть же к брату в открытую, как смола от кедра. Засмеют еще.

Глебка досадно морщится, припадает перед братцем на одно колено. Ладится застегнуть на рубашке верхнюю пуговицу, но ничего не выходит.

— Ты б на ушко шепнул, братушка, где это ты так раскушался. Я б тоже туда слетал на подкорм.

Антоха рога в пол. Насупился, косится.

— Чего молчишь?.. Ну, молчи, молчи. Это ты от воздуха распух. Выдохни поглубже и не дыши. Шея сразу стоньшает, тогда и застегну.

Антон делает наоборот. Собранно, длинно вдыхает, жертвенно поднимает глаза к потолку. Глеб влюбвинку смотрит на него, улыбается. Ему нравится брат, он любит брата.

Антон не выше велосипедного колеса, клоп пока. Белое полное лицо щедро закидано веснушками. Податлив, неустойчив нос перед солнцем, как исключение перед правилом, и, естественно, по весне являл скандальное поползновение к шелушению. По его облезлому носу мама в шутку определяла приход жары:

— А Антонка принес нам новостеху. Набездало лето!

Его округлая большая голова со старательно оттопыренными ушами горела рыжим пламешком коротких густых волос. В ясных, в светлых глазах лучилась чистота.

— Ну, можно мне дыхнуть?

Что Антон спросил именно это, Глеб догадался скорее по губам, настолько глухо это было сказано.

— Да мне что, дыши. Воздух бесплатный. А потом сикось-накось я уже застегнул.

Они выходят из дому. Антоня останавливается. Не двигаясь с места, пробует пошире сделать первый же шаг. Одна нога плавно уползает вперед, другая назад, и он, пухлявый весь, толстенкий, как тыква, в шапате садится на землю.

— Пряник, кончай ломаться! Опоздаем на завтрак!

Напоминание про завтрак производит на Антона слабое впечатление. Он кисло переваливается с ноги на ногу. Глебка на бегу ловит братца за руку, в спехе тянет, и тот боком семенит за ним, откусывает тропку частыми-частыми шажками. Нежданно Антон ужимает ладошку трубочкой, выдергивает из цепких сердитых пальцев, бдительность которых была усыплена внешней, притворной покорностью маленького лукавца.

— Ты не ходи за мной! — отскакивает Антон в сторонку.

— Почему?

— Не ходи и все. Я только нарисую след.

На ходу Антон снимает с ноги чуно вместе с носком. Босой ногой сторожко ступает в прохладу пыли на краю дороги, где ее, пыли, всегда больше, чем на самой проезжене. След на обочинке живет дольше, первая же машина не уметет, не ломает его. Мальчик оглядывается, убеждается, что след спечатан четкий, глазастый, довольно обустается...

Нынче весь день горе. До обеда Антон просидел пенечком в углу, горестный, панихидный. Машина раздавила след...

Борщ да каша подживили настроение Антона. Без спросу уваялся гонять ржавый обруч с бочкина живота. Подвывая тяжело нагруженной машиной, поталкивал перед собой обруч, излетал весь район. Наконец упрел от беготни, спрятал обруч в чайные кусты.

Надо бы уже назад, в сад, — нелегкая возносит его на елку, на самую вершинку. Глянул вниз — кругом пошла голова, разнимаются пальцы.

Мальчик зажмурился, инстинктивно крепче обнял потеплевшее на солнце тело ствола. Затаился.

Он боится открывать глаза. Все кажется, открой, тут же и рухнешь мешком. Он делает усилие над собой, капелечку разжимает один глаз, второй. Велит себе не пляться вниз. Да и зачем вниз? Разве лез он любоваться отсюда землей у елки?

Он нетвердо отводит взор в сторону. На дорогу. По этой дороге мама ушла с Машей в больницу. Мальчик ненастно впивается в белесый каменистый проселок. Забираясь на елку, Антоня думал, что первый увидит, как она идет из больницы. Каждый же день переказывала с Митькой, что вот-вот придет. Да все не шла. А если она нас бросила? Мальчик засопел в обиде, слезы белыми стрелами посыпались вниз.

Его поведение, его слезы вбивали в тупик всякий зрелый ум. Ключа к нему близкие не могли доискаться, списывали все его странности на счет детского возраста. Вырастет, авось, пройдет. А между тем до той поры, когда *вырастет*, далеко. Что сейчас с ним происходит? Что сейчас в нем варится? Может, что-то прояснит его дорожка из вчера, по которой он прибежал в сегодня? Хотя он сам или кто другой разве скажет, где и как именно начиналась та дорожка, по которой он в свои три сентября дотащился до себя вот уже такого запутанного? По натуре он совершенно одинок. Мира, гама не выносит. Он мальчик из угла. Растет в углу; его душа живет лишь в безмолвных, в подернутых тенью углах то ли дома, то ли сарая, то ли чердака или в дремучих зарослях бурьяна, кустарника...

И даже дома, среди привычных немых вещей, держался он в сторонке, словно боялся их, робел мозолить им глаза.

Три козленка, не признававшие его, как вытянутые нити, то белые, то черные, то серые, призраками летали друг за дружкой с табурета на койку, с койки на скрыню, со скрыни на стол, со стола на подоконник. В чем суть их игры?

Мальчик поймал себя на том, что улыбается.

Кажется, по-своему расценил эту улыбку Борька и, недолго думая, весело махнул мальчику, сутуло сидевшему на табурете, прямо на плечи. Удержался на шее, панически свесил тоненькие ножки Антоны на грудь.

Мальчик угнул голову, стряхнул козленка на готовно вытянутые руки.

— Признавайся, разбойник, ты внарошке уронился на меня? Или по нечаялке? Заигрался?.. А если я накажу?

Борька просительно заблеял.

— И не хнычь... — Антон слышал через рубаху ласковое тепло его тельца, зашептал умоляюще: — А можно, Борик, я на те поиграю? Побудешь гармонюшкой?

Борька захрипел, укатывая чистые глаза.

Мальчик испугался, выпустил.

Оказавшись на желанной свободе, Борька возгорелся бороться за нее до смерти, и когда мальчик погнался за ним, яростно взмыл на сундук, с сундука на стол. А дальше? Снова на пол, в горькие руки? Не-ет!.. Борька храбро кинулся в ненавешенное окно.

Лопнул холодный звон стекла, Борька вывалился на улицу. На счастье, в мазанке окно было низкое, все обошлось. Очутившись на земле, Борька с мгновение чокнуто стоял, как бы стараясь сообразить, что же произошло.

Заслышав маятное блеяние своей мамушки, высыпались в окно за компанию и близнюки, сразу к своей мамке-кормилке; ликующе повиливая хвостами, налетели сосать с коленок.

Антон выскочил на крыльцо и обмер. Молоко, которое бы он ел, уходило в ненажорные глотки. Подбежать отнять козлят? Боязко... Еще козуски на рожках понянчат. Ему ничего не оставалось, как зареветь в надежде, что на его слезы кто-нибудь да явится и прекратит это ералашное безобразие.

Никого из соседей не было рядом, и мальчик, глядя, как козлята урча, взахлеб дохлопывали последнее молоко, очумело скулил.

— Ты чего? — вдруг спросил из вечернего сумрака Митрофан. Митрофан брел из школы. По пути насобирав в придорожных посадках елового сушняка, и сушняк вязанкой-горушкой дыбился у брата на спине.

Антону было не до шуток. С пятого на десятое отмолотил про разбитое стекло, про коварство козлят.

— Они высосали все! Я остался без монюшки. А я хочу!

— Хотеть можно бесплатно. Нечего было лопоушить! Нечего было мотать Борьку! Вот тебе за это отплата. И правильно сделала. Покукуешь вечерок без молочка.

— Ка-ак правильно? Я хочу!

— А где я тебе возьму? Выпляшу, что ли? Жди теперь до утра. Не помрешь? Нету моньки — смотри красивую книжку!

Митя сбросил вязанку, подал из полотнянки-сумки нарядную книжицу. Сдержал слово, принес!

Митя сбежал за огнем к Батломе, зажег коптушок.

Выбившись из сил, Митя волоком потащил вязанку к сараю, стал рубить сушняк. А тем временем Антон заткнул низ высаженного окна подушкой. Подсел к коптушке к книжкой.

Книжка была очаровалка. Мальчик в нетерпении подтолкнул коптушок к самым глазам, еще ниже припал к книжке, почти лег на стол.

Крошечное, болезненно-чахоточное пламя, хило выбегавшее по ватному жгуту с потрескиванием из пузырька на полноготка, зарадовалось, увидев, как над ним свесился угол косынки. Пламешко озоровато качнулось, будто разогналось, вытянулось, подпрыгнуло. До косынки не доплеснулось. С досады упало, сжавшись гармошкой, уменьшившись вдвое, однако вдвое и потолстев. И тут Борька, лучезарно взлетевший с лавки на стол, приплавил упругий вихрь. Вихрь, дуря, подкинул пламя, оно успело ухватиться за край косынки. Сам вихрь сразу же отлетел вместе с Борькой, вознеся того уже на тумбочку.

Косынка загорелась. Мальчик не понял, откуда это огонь, да ему и не до выяснений было за интересной книжкой. Он повеселел, что стало светлей, ярче. Теперь куда лучше рассмотришь картинки. В новое мгновение он почувствовал, как огонь жжет в правый висок, послышал, как навсех затрещали на нем волосы.

С диким воплем стриганул он на крыльцо. Все окрест осветилось живым факелом, и Аниса — шла с тяжелым ведром от родника — в ужасе выронила ведро. Ведро кувыркнулось, вода с сердитым змеиным шипением побежала впереди нее.

— А-а, Господи! — со стоном кинулась Аниса к мальчику.

Она не знала, как поступить. Бездумно сдернула с себя фартук и ну размахивать, ладясь сшибить ветром пламя. Но оно еще злей подымалось шапкой. Тогда Аниса ударила растопыренной пятерней по пламени. Оно ослабилось, село. В следующий миг косынка корчилась в огне уже на полу, Аниса зверовато топтала ее ногами.

— А малахольный ты мужилка! Вот божье наказание! Ты ж дом мог спалить! Ты про то подумал, глупендьяй? — укорно ткнула она его двумя пальцами в лоб, и под вскрик мальчика это ее прикосновение навсегда впечаталось над правой бровью. Впрочем, отметина ее легла, может, и раньше, когда угарно хватила всей пятерней по горящей на голове косынке.

— Ох! Что ж я, чумородина, делаю? Тутоньки погорело все! До корня! — Она горько сморщилась, всматриваясь в лоб.

Из жалости к себе мальчик залился навзрев.

Аниса внесла его в комнату, усадила на лавку. В спешке стала жевать жареные кабачковые семечки, что остались у нее с вчера.

— Сожжено не огнем, а золою. Золою... — ласково уверяла. Подула над бровью, приложила прямо изо рта кашницу. Повязала полотенечком, добавила заговорщически: — Где был огонь, будь песок, будь песок...

Вошел Митя с охапкой нарубленных дров.

— Ты чего, — спрашивает Антона, — весь перевязанный, как битый немец?

Антон не говорил за слезами. Аниса сама рассказала, как задавила пожар. Под конец попросила:

— А покажи, праченька, как ты беленько отстирал то, что замочил даве. Покажь, как устарался.

Митя потускнел.

— Забыл... Я не стирал еще...

— Да оно все в воде погниет! Давай я ментишком!

— Не-е... Сени, тетя Ань, постираем. Завтра выходной, в школу не бежать. Сени постираем, а завтра с утра на речке отполоскаем.

— Давай. Я скоренько.

— Не-е...

— Оха! Какой же ты...

Аниса ушла.

Митя накипятил воды, из-под койки выволоч на середину комнаты корыто. Достирывать Мите помогал Глебша.

Во все мамино отсутствие Митрофан важничал, был чересчур весь строгий. Полагал, раз тебе доверили вести дом, так и будь серьезный, солидный. С проголоди Глеб с Антоном просили нажарить кукурузы, а он ни в какую.

— Мама велела берегти от вас кукурузу. Это на крайнюю случайность. На самую горячую!

Кукуруза хранилась в скрыне, в кованом сундуке, в котором везли на разукрашенном свадебном поезде Полино приданое, когда выходила замуж. Везли из Собацкого в Новую Криушу. Потом семья держала в этой скрыне, подпоясанной жестяной лентой, дорогие вещи. Вещи поменяли на зерно. Сундук опустел. В него и сыпали выменянные последние пуда два кукурузы, сыпали вперемешку с соей.

В первый же день, как остались без мамы, Митрофан нацепил на сундук хитрый замок. Ни Глеб, ни Антон не могли открыть. Спать теперь Митрофан не ложился на койку, все лез для надежности на сундук, плутовато лыбясь братцам. Дескать, народишко вы те-еплый, только зевни. Братцы уныло кисли. Попробуй тут отлучи хоть зернинку.

Но сегодняшняя Антошкина беда умягчила строгого хозяйчика. Подобрел, сам назвался:

— Жарь, братухи, кукурузу, сою! Сколько душеньке завгодно! Пойду, позову на пир своего Пегарька.

Весь вечер весело жарили, ели.

Митрофан объявил, что ляжет не на сундуке, а вместе со всеми на одной койке. И добавил:

— Сымаю с кукурузы охрану! А ты, Пегарек, дуй к маманьке.

Жадобистый Петька Пегарьков, Митин корешок, замылся. Он не верил, что царское пиршество могло состоять лишь из двух блюд, из кукурузы и сои. «Наверняка у них наприпрятано за глаза еще чего-нибудь. Я за порожек, они без меня и утрескают! Не на того запали!»

Притворяшка заскулил:

— Я боюсь один беги домой... А ну чикалки²⁶ напанут? Можно, я у вас сночую?

²⁶ Чикалка — шакал.

— У нас все можно! — светликодушничал Митрофан.

Было впрохладь, свежо. Валетами попадали все четверо на одну койку, вжались друг в дружку.

В глухой час, ближе к свету, то и стряслось, чего так опасался Митрофан. Во сне Антон облил всех «цветом детской неожиданности». Невидимой волной всех смыло с койки. Один Антон уже без одеяла все безмятежно спал.

— Антоха... башка незаплатанная... — кутаясь в одеяло, хныкал Пегарек. — Ты че меня всего устряпал? Холодина, зуб на зуб не бьет... Как домой иттить?

— Ножками! — резнул Митрофан. — Отдавай сюда, задрема, одеялку нашу и шлепай!

Митрофан выдернул из рук Пегарька одеяло, подтолкнул к двери.

— Катись отсюда колбаской. Чтоб тебя чикалки пощекотали! За пятки!

В окне черно, жутко.

Ежась, Пегарек выскакивает в черноту.

— А теперь с тобой разберемся! — Митрофан дернул Антона за ногу. Мальчик так и не проснулся, ужимаясь в калачик. — Что Пегарька уделал — пять с плюсом! Так бы он и завтра не ушел. А что всю постелю упоганил, нас с Глебом... Кто за тобой будет настирывать? Я? Я не нанимался к тебе в прачки. Ты у меня с ревом нацелуешься с этой дрянью! А ну вставай!

Митрофан шлепнул Антона по ноге. Антон вскочил, припал плечиком к стене и затих. Он продолжал спать сидя.

— Ты бесстыжие свои лупалки-то не жмурь! Давай открывай. Смотри, чего ты натворил!

— Я... не могу... проснуться... — сонно бормотал Антоша.

— Так я помогу!

Митрофан остервенело схватил сонного за голову, отвел назад и с разгону трижды воткнул разрывающегося в плаче Антона лицом в кружок «золота».

Из школы Митрофан забежал в больницу.

Поля положила на него тревожные глаза:

— Как вы там? Живы? Вчора выходной, школы тебе нема. Один денечек не був и у мене. Еле выждала душа... День-год... Ну, як вы там, сыночок, кулюкаете? Голодом не сидите? Кукуруза, наверно, уже вся? До званья подмели?

— И ничего мы не подметали... Кукуруза вся целая. Только разик, позавчера, малешко гульнули. Две сковородки пожарили. А так больше ни во столечки, — Митрофан показал кончик мизинца, — не трогали. Вся на месте. Кре-епко я берегу от Глебки с Антохой. Как велено!

— Кто велел?

— Сами вы и велели! Кто наказывал: ты старший, так ты уж береги?

— И-и, головушка медная... Бездольный воспрещатель... И слушать тошно! Я ж говорила не про то совсем! Берегти-то береги, да не по-твойски! А так: йисты — ешьте, мимо рота только не кидайте.

— Во-она как! — разочарованно протянул Митя. — А я думал, не надо давать Глебу с Антоном.

— Ты там хлопцев не поморил мне? Ноги, може, уже не таскають... Приду, гляну, як ты там хозяиновал у мене.

Последние дни перед домом были у нее самые тягостные за полтора месяца больницы. В каторге едва дождалась нового утра, потом век выглядывала обход, Чочу. А он будто все напрочь забыл, не шел, лишь под вечер вкатился.

Как обещал, дал полную отходную, да пойти в ночь с дочкой на руках уже не пойдешь. Поля поникла, не притронулась к ужину. Уложила Машу, к своей койке и не подошла. Все сидела поближе к дому, в прихожалке с дежурной сестрой, и

когда та выскочила куда-то на *минуточку* (до утра), грустно обрадовалась, что не будет та докучать пустопорожними уговорами. Всю ночь толклись перед глазами ребята, дом, ловила в маяте себя на том, что во всю больничную полосу так щемливо не думалось про них, а тут с ума нейдут, и как они, и что они, в горячке то и знай все отдергивала на окне штору, лупилась в темь, готовая бечь. Только внесло предутренним ветром сестру — лопнул терпец, прикинула Машу щечкой к своей щеке да и бежака.

Видело материнское сердце беду.

Размахнула дверь — постель прибрана, Митька с Глебом потерянно сидят на крыльях с кукурузой, повтыкали носы в пол.

— Чего в таку раницу одемше? В честь чего сполáгоря повскакали?

— А мы не ложились...

Ее морозом так и одернуло.

— Иль случилось шо?

— Да случилось... У нас, мамычка, Антошик пропал...

— А Божечко мой! Как пропал?! Доскажете! Толком... Порядком...

Братья переглянулись. Кому говорить? Глеб качнулся к Митрофану плечом. Давай ты!

Пропажка казнила Митрофана. Но еще солоней казнию его то, что пропажка эта свертелась именно в то время, когда главой дома был он. «Не мог шныря одну ночку утерпеть... Пришла матуся, спокойно и укатывайся-пропадай на все четыре ветра. А то напоследушки запашку мне подпустил...»

Митрофану не верилось, что брат пропал всерьез. Отыщется. Жрать захочет, прибежит. Да и потом, подумаешь, потеряли одного, зато у нас ничто другое не пропало! Мог же этот обормот вообще сгореть вместе со своей косыночкой скандальной, мог заодно и домишко спалить, могли всю, под черту, кукурузу слопать — но все цело! А это что-то да значит.

Митрофана не манило начинать впрямую с пропажки, поджигало сразу дать понять матери, что сладкое бремя властелина нес он с достоинством. Завел песню издалека, с субботы. Обстоятельно, как и просила, рассказал, как старательно стирал-настирывал весь вечер, как под конец помогал ему Глеб. Про воскресенье пришлось молчать. Собирались полоскать, да забыли, проиграли весь день в мяч.

Зато про понедельниковы страдания улился соловейкой. Корыто с настиранным еле обротали с Глебом на свою тачку в одно колесо да к реке. Тачку так с бугра разогнало, что не удержали, сорвалась с берега, перевернулась. Перекувыркнулось и корыто. Хорошо, что речка воробью по грудку, не выше мизинчика. Из настиранного ни холеры не унесло, только прозрачная вода, что сонно прыгала по мелким камешкам, враз почернела.

Макая тряпицу в воду, Митрофан бил, охаживал ею лобастый гладкий камень, как делала мама. Глеб полоскал в отдальке, чтоб не забрызгать друг дружку. Не усидел и Антон — прокинулся, слышав на первом мерклom свете их сборы, — тоже хлопотал в подмоге. Он считал, мало проку в том, что колотят братья по бульжникам бельем. Оно скорее станет чистым, если... Он кинул полотенешко на камень, застучал сверху другим. Камнем. Полотенце оказалось не из стали, тут же в нем явилась мелкая разрывка.

Как вещественное доказательство Митрофан достал из вороха и в самом деле чисто выстиранного, сухого белья на койке полотенеце, показал те пробоинки с белой бахромой.

— Развесили потом все под яблоней у окна, наказали ему не забегать далеко и погнали с Глебом череду пасти...

— Что, уже наша была очередь?

— Не погнали бы без очереди... В субботу Пегарьковы, в выходной Клыки хо-

делили за козами, а в понеделник, вчера, уже нам набезкала очередь. Помог я Глебу выгнать стадо в лесок. Из леса прямишком на уроки. Не высидел всю школу, сорвался к вам. От вас снова к Глебке.

— Без обеда?

— Зачем же?.. Краюшка у меня была-а... Солькой побелил... Все бегом, бегом... Употел, присел у родничка передохнуть. Умял хлебушко, из кринички запил... Ну, приходим вечером со стадом... Нету нашего Антона. Мы туда, мы сюда. Нетушки! Думали, у теть Анисы. Нету. Говорит, весь день просидел как именинник в канаве у дороги. Вы-то, ма, знаете, ух лю-убит со своим обручем обгонять машины... Уже перед нашим приходом мыла она в столовке котлы, так он заскакивал чего перехватить. Дала. Он и исчезни, не знай куда. Прошарили все каналы, все траншейки, все окопы, все сараи... Всю ночь лазили. Ни с чем и кукуем вот...

— А Божечко мой!.. А взрослым хоть кому стукнули? Тому ж бригадиру?

— Не. Думали, найдем.

— По пустяку... Ум расступается...

Плохо соображая, Поля вышатнулась на крыльцо.

Бригадирово окно скупо золотил сонный огонешек — угасал в тугом тумане утра.

Она побрела на свет.

И уже на ступеньках ее перехватил Анисин голос:

— Полька, а Полька! Ты этого демоненка знаешь?

Поля обернулась. Аниса встречно подтолкнула в спину Антона — вела за руку, и тот угрюмо тащился сзади нее боком.

— Та где ты его откопала? — Поля обомлело сложила руки на груди.

— Где! Он меня, анчутка беспятый, чуть было на тот свет не отправил чертям на пензии воду возить... Подхватила я спозаранья да на кухню в детсад. Одна у поварихиной у подсобницы дорога. Заливаю котел, другой. Все котлы у меня с вечера выскоблены, высушены. А этот один чегось стоит на теплой печке на своих ногах, невплоть прикрыт. Я крышку в сторону, хватъ ведро да туда было... А там чтой-то черное и заворушись. Матеньки! Подкосились подо мной ноженьки, я и села, где стояла. Ведро все-о-о на меня опросталось! — Аниса показала на кофту, на кубовую юбку, мокрые спереди до последней ниточки. — А он, колоброд, встал во всей росток да еще потягивается. Тянет один кулачок за спину, другой за голову. Вроде того как и надсмехается, и грозой грозит.

— С него станется. Шо ж ты творишь? — накатилась Поля на сына. — Иле твоим бесстыжим глазам не первый базарь? Ты чего в котле забыл?

— Ничего я там не забыл. А Глеба наказывал далеко не заходить, я и был совсема возле дома. Я думал...

— А-а! То-то по всей улице вонишка была. Он думал! В котле ты, вороженок, что забыл? — подкрикнула Аниса.

— А это, ма, я так... — лисил Антошка. — Поел я ее кашу, залез в котелик в пустой. Тепло, темновато... Угрелся. Сижу, слушаю, как скребет она ножом котлы рядом. Уже ночка в окна залезла. Накрылся я крышкой, ночка сразу ко мне легла. Свернулся в калачик, думаю, а пускай теть Ань найдет меня. Я там вничайке и уснул совсема...

Последнюю фразу мальчик произнес с такой горькой досадой, что в самом тоне прозвучало признание того, что сделал он все это крайне нелепо, что это нелепство он понимал, раскаивался. Он переживал, что из-за него страдали другие. Уже одно это прощало невольную его выходку.

И когда отчитанный от лихорадки, отруганный Антон, Поля и Аниса появились на пороге, Митя вихрем слетел со скрыни. Запрыгал:

— Я так и знал! Я так и знал! Я говорил себе: раз обруч дома, так никуда не денется и сам этот. Из-под земли придет за обручем! При-дет! Вот и пришел!.. Все, ма! Получайте свое хозяйство в полном составе!

По улыбке матери ликующий Митя видел, что она довольна и горой отстиранного белья, и свежим, вымытым полом, и нашедшимся пропащей душой Антоном, так что вовсе и незряшный был он, Митрофан, хозяйко. Ему хотелось похвалы. Мама заметила это.

— Спасибо сыночку Митеньке, — приобняла его за плечики. — Хозяиновал гарно. Повезде держал порядок, чистоту. Во всякую норку залезет, вытрет... Гарный хозяйко... наш Мужик Мужикович... А ты, Антоха, умывайся да в сад мне с Глебом марш!

— За мной, каурый! — Глеб поймал братца за руку. В злости Глеб называл его за огненно-рыжие волосы каурым. — Не упирайся, иди. Кто за тебя будет ноги переставлять? Давай, шевелись!

Антону зуделось убежать, дернул руку. Но Глеб удержал, поднес кулак ему к носу:

— А пять веселых братиков не встречал, малеха? — И легонько, без зла подтолкнул коленкой в то место, которое не плачет. — Бабушка велела кисельку поддать.

За завтраком Глебка всегда садился в саду рядом с Антоном. На то были две причины, весомые, как железнодорожные шпалы. Первая: на случай защиты младшего брата от всяческих козней детсадовской скорлупы. Глеб самый сильный, с ним справится лишь воспитательница.

Ему сказали, чем драться, лучше таскай воду в сад из кринички за Шкириным огородом. Глебка исправно носил, за что теперь отхватывал в обед по две порции первого. Две порции все-таки покуда больше, интересней против одной, и в Глебе прокинулась дремавшая предпринимательская жилка.

И вот вторая уже причина, почему он по утрам подсаживался за стол к брату.

К чаю обычно выдавалось по два овсяных печенья, без которых он легко обходился, теща себя мыслью о царском обеде с двумя первыми. Уже от одной только этой думушки он сытел. Взяв стакан с чаем, неторопливо подносил ко рту и обе печеньюшки. Дух печенья сладко пьянил. Забивала слюна, сами собой размыкались зубы, неодолимо тянулись к дерзкому аромату. Мальчик с надсадой сглатывал слюну, стискивал прочней зубы и, внимательно-небрежно кинув глаз поверх ребячьих голов, убедившись, что воспиталка не следит за ним иль вышла куда, незаметно опускал сладинки в пазуху.

А кругом все молотило со зверским аппетитом. И ничего так не хотелось, как печенья. Он машинально подносил пустой кулачок ко рту, «откусывал», шумно, как все, тянул чай из стакана. Других просто обмануть, что пьешь с печеньем, да навар из обмана не крут. Разве пообедаешь себя?

Он лениво-деликатно давнул локтем брата в бок, просительно наклонился.

— Поделись, — показал на его печенья, — с братиком по-братски. А то чай мерзнет мой.

— Что ты как побирошка? Всякий день дай-подай!.. Давалка сломалась. Вот я склал про тебя. — И Антоша вшепот пропел, назидательно тыкая брата в коленку:

Побирошка, побирошка,
Дай печеньяца немножко...

— Ну, хоть вот это. — Глеб ласково погладил сколок печенья, что выглядывал из братова кулачка. — Там осталось всего на три духа. Крошка. Ну?!

Антон оценивающе уставился на Глеба. Дать или не дать? Глеб свойски мигнул. Мол, чего еще думаешь, и смешливо выпустил ему кончик языка.

Но остался в накладе Антон. Из-под мышки насуленно вывернул уже фигу, обстоятельно впихнул злосчастный сколок себе за щеку.

Глеб проводил взглядом тот кусок в рот, посмотрел, как братец жевал долго, сосредоточенно. Все не верилось, что не даст.

— Ну, ладно, каурый, — зло облизал Глеб сухие губы. — Оставил шиш да кое-что еще. Ладно...

Глеб ядовито покивал братцу одним прямым указательным пальцем. Да пропадай ты, лавушка, со своим товарушкой!

С ведерком он побегал к кринице. В посадке пристыл у высокой, у толстораскормленной елки. Заозирался. Ага, ни один глаз подглядливый не гонится. Можно! В спешке достал из пазухи оба свои печенькица, завернул в тряпочку, с которой играли девчонки перед завтраком, сторожко вложил тряпицу в темное сухое дупло, застланное им самим газетным листом.

Почти весь день мальчик не выпускал из рук ведерко, все носил на кухню воду. За ужином перед всеми Аниса — она одна в четырех картинках: и помощница у поварихи, и няня, и уборщица, и почтальонша, — Аниса и тетя Мотя, воспитательница, сказали ему спасибо, дали за труды лишние три блинца в сметане.

Вечером никто не приходил в сад за детьми. В синих сумерках воспитательница, иногда брэнча грусть на древней гитаре, сама отводила за район ребят на окопы к родителям.

От света до света люди ломали как быки. Кто формовал, стриг под овал лохматые чайные кусты. Кто перекапывал междурядья на чайных плантациях. После основной работы, к вечеру, усталые взрослые убредали за поселок рыть окопы. Фронт ворочался, рычал невдали, взрывы вздыхали по ту сторону гор, вздыхали так, что дрожь пробирала дома, деревья, и по ночам ошалелый без сна бригадир кидался от окна к окну, лупил в стекла палкой.

— Аба²⁷! Тушы свэт! Тушы свэт!

Ребятёе знало на окопах, где чья мать копала. Кучками, в одинарку молча растекались лаврики по своим. В мирное время любили они играть в войну. Теперь же и разу не подумалось сыграть в войну в настоящих окопах. Не игралось.

Младшие, крошутки, найдя своих, столбиками мертво стояли в сторонке. Сраженно пялились, как гневно, яростно и быстро копали матери, смотрели и ждали, когда подадут руку идти домой.

Детсадовский народишко постарше уже не был просто сочувствующий зритель. Тот же Глеб. Влез в окоп к маме и, путаясь у ее ног, занялся подбирать со дна комки глины, — упали с бережка, — выносил или выбрасывал эти глудки за насыпь.

Было совсем черно, хоть в глаз коли, когда по бригадирову голосу женщины безмолвно покинули окопы и посунулись к поселку. Все в смерть уработались, выпали из силы, еле ноженьки молчком несли и было едва заметно, как в крошечной тьме покачивались высокие и низкие — от горшка два вершка, от чашки на четверть — сгустки ночи, фигуры людей.

Поля вела за руку меньшенького. Глеб плелся сзади. Раза два окликала, он отвечал:

— Тут. Тут я. Куда я денусь?

Мама забылась. Кинулась парня уже у двери.

— Гм... Где ж он? Вора не було и батька вкралы, — сказала самой себе. Негромко спросила темноту: — Гле-ебушка, ты где?

— Где же!.. Вот он я! — празднично звенел приближающийся голос из черноты. Мальчик бежал, тяжело нес перед собой шатром отдутый подолок рубахи. —

²⁷ А ба (груз.) — ну-ка.

Ма!.. — вывалила на стол из пазухи холмок красных, синих, оранжевых круглых узелков, в которых было по два печенья. — Ма! Это вам! Сегодня, говорила тетя Мотя в саду, ваш день. Восьмое Марта. Праздник!

— Дела! — Мама даже растерялась от радостного разноцветья тряпочек. — Дождалась и Польшка от своего сыночка первого подарка. От спасибо, от спасибочку сыночку!

Мама конфузливо-светло рассматривала тряпочки, развязывала, брала печенья и боязливо клала назад, не веря, что все то ей одной. Она улыбалась, сквозь слезы спрашивала:

— Довго собирал?

— Да ну, с Нового года.

Антон встал на цыпочки, раздернул печенья на две неравные кучки.

— Это, — угреб к себе бóльшую горку, — мне. А то всем вам.

Глеб взял брата ниже локтей, повытряс из рук все до крошки. Поманил в сумрак угла, куда каганец не мог добросить болезненно-желтого трескучего света, к тому же шаткого, стоило кому рядом пройти.

— Я хочу по-братски поделиться с тобой, братик, — заговорил так, чтоб слышал лишь Антоня. — Из этих печений тебе, братик, причитается только это! — Глебка приставил ему к носу дулю. — Помнишь, как ты мне совал? Так что хороша Наташа, да не ваша.

Антон надулся, молчаком плюхнулся на кровать. Сычом косится на печенья.

— Хлопцы, — сказала мама, — и шо ото вы на них смотрите, как на икону? Сидайте за стол, ешьте все разом да то и будэ нам праздник из праздников. Я и не знаю, когда покупала вам печенья. А туточки полный стол. Да ешьте, ешьте вы. А то стол сломается!

Глеб с царственной милостью подпихнул к брату цветастый бугорок тряпочек с печеньями.

— Ладно, работай. Ломи за троих.

Антон понес руку к радужной горке.

— Ага...

— Коровья твоя нога.

Тут втащился Митрофан с Машей на руках, жутко удивился:

— Что это тут делается? Ну-ка, Маша, гордость наша, спроси у мамушки, спроси у братиков, чего это они так горячо трескают, а нам и не подадут? Ну-ка, спрашивай, золотушечка...

Все взоры собрала Маша. Стало так тихо, будто ангел пролетел. Девочка сосредоточенно молчала, словно прислушивалась к тому, как прозвучали слова брата. Казалось, она силилась дognать ухом тот улетевший куда-то голос и послушать его еще, послушать сказанное. Но разве это возможно?

Как это никому не пала в голову прежде догадка, что эти печенья, пожалуй, все-таки нужней самой маленькой в семье, самой слабенькой? Из больницы ж только что! Каждый, наверное, подумал про то же, каждый по-своему среагировал. Мама с какой-то виноватостью подала дочке капелюшечку надкушенное печенье. Девочка взяла, стала серьезно рассматривать. Антон поднес весь ворох, высыпал сестренке на лавку, где присел с нею Митрофан.

А назавтра Глебка шепнул Антону за завтраком:

— Я оставлю Машуньке одно.

— Я тоже.

И братья приносили ей каждый вечер по два печенья. Весь день мучительно таскали в кармане. Крепок был бес искушения, но мальчики находили в себе силу смять его.

*Или доля моя
Сиротой родилась?
Иль со счастьем слепым
Без ума разошлась?*

Никишин не вышел еще хлеб, еще полный под завязку мешок толсто дулся в углу, а Поля, не привыкшая дожимать все до крайности, не ждала, когда последние зернышки снесет за речку Скурдумку мельничихе Теброне, и потому, едва выскакивал пустой час, совала что уже из своего из личного барахлишка в мешок и бежала менять в горы. Одна ходить боялась. Чужие горы, чужие люди. А ну какой блудила навялится?

На всякий случай она брала в спасители Глеба. Будила его затемно, еще лукавые не схватывались.

В этот раз они вернулись с удачей. Выменяли на одежду целый мешок яблок. Еле дотащили домой уже по ночи.

Будто магнитом подогнало Полю к своему окну, вжало в низ стекла. До двери шаг. Войди и узнаешь, чего это детвора среди ночи при огнях. Ан нет. Подожгла нетерпячка, невмочь сделать этот последний шаг, пристыла с мешком на плечах у окна.

Митя загнанно кружил по комнате, убаюкивал плачущую сестру. Чем усмирить ее? Мальчик сел на лавку у стола, пододвинул ближе каганец. Девочку заинтересовало сопящее, качливое пламешко, и она, притихая, засмотрелась на него.

— Ой, Ма-арушка! А правдушки, красивый у нас копушок? — сквозь близкий сон допытывался у нее Митя. — А правдушки? Тебе интересно знать, как его сладили? Слушай... В пузырек из-под твоих лекарств мамка налила керосину и опустила туда палочку из ваты. А чтоб палочка не уплыла вся в керосин, на нее надели пластинку картох. Белый воротничок из картошки! Оя, какой красивый у огонька воротничок!

Девочка сморщилась и снова улилась.

Митя яростно трясет ее, нагоняя на нее сон, рассеянно тянет пробаутку:

Солнышко, солнышко,
Выглянь в окошечко,
Твои дети плачут,
Серу колупают,
Нам не дают,
Черному медведю по ложке,
Нам ни крошки...

Но все его старания напрасны. Девочка слезой слезу погоняет и, похоже, это до бесконечности.

— Музлейка!.. Для тебя для одной поясняю... Плаксиха! Вот ты кто!.. Ну, чего ты?.. Не битая, а плачешь! Сколь в тебе ведров слезок?

Мальчик кладет ее на пол, спускается перед нею на колени.

Девочка закричала навзрев.

«Похоже, серьезно дочка подболела, — подумала Поля и пошла в барак. — Со всем рухнула здоровьем. Плаче и плаче... Шо его делать? Не знаю, и в какую бутылку... лишь бы повернуться... Эхэ-хэ-э... Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь...»

В первые после больницы дни девочка ела охотно. Бледные щечки подвеселила розовость, заиграла живинка в ясных сколках глаз, но скоро снова снесло ее в вечные капризы, в слезы.

— Вот тебе, сынок, за греды. — Поля дала Мите чурек с лобией. — Антон не утерпел, заснул... Лягайте и вы с Глебом... Спите... А я...

С плачущей дочкой она вышла во двор.

Укачивала, выговаривала бессонницу-полуночицу:

— Пойду я с Машей под восток, под восточну сторону. Под восточной стороной ходит матушка утрення заря Мария, вечерня заря Маремьяна, сыра земля Полина и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты, матушка заря утрення Мария и вечерня Маремьяна, приди к ней, к моей Машеньке, возьми ты у нее полуночника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти, из ясных очей, из черных бровей, из всего человеческого сустава, из каждой жилочки, из каждой косточки, из семидесяти семи жилочек, из семидесяти семи суставчиков; понеси их за горы высоки, за леса дремучи, за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи топучи к щуке-белуге в зубы, понеси ее в сине море». Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море; заткнул и ключ в море бросил!

Дочка вслушалась в слова. Примолкла. И как только Поля стихла, заплакала в изнеможении, хрипя с простонам.

Майское утро катилось из войны, из-за гор. Посерел воздух. Из тающей ночи четко выступил белый ком цветущей яблони. Томила духота. Окно было раскрыто настежь, и невесть какой судьбой белая яблонева ветка покоилась на подоконнике.

Привыкшие к ночному плачу парни спали.

Поля и на раз не свела глаз. Склонилась у окна над дочкой, шепотом просила ей покоя у зари:

— Заря-заряница, заря, красна девица, твое дите плаче, пить-исть хочет, а мое дите плаче — спать хочет. Возьми наше бессонье, отдай свой нам сон, отдай...

Девочка утишилась, а там и вовсе перестала. Мама положила ее к братьям на пол, где из-за жары с мая спали впокот.

Вскоре Маша уснула.

Барак придавила тягостная тишина.

Зоревой упругий сквозняк вытягивал из мазанок последнюю душность ночи, когда огромная, с малахай, птица черно ударилась с лету в закрытое окно и, не разбив, сползла по стеклу к его низу, царапая могучими когтями. От этого скрежета проснулось все в доме. Все видели, все застали тот момент, когда неясная птица скользила по стеклу. Свалившись на землю, она взмыла в угаре и снова с разгона бухнула в окно, заставив всех в ужасе сбиться в кучу.

Только Маша спала спокойно. Она не видела ту птицу, не слышала свист и стон ее когтей по стеклу.

Девочка умерла во сне.

Повязала Поля гробик с дочкой платком, будто живую, прижала к груди и понесла хоронить. Следом Митя нес крышку гробика. По бокам понуро брели лишь Глебка, Антоник да Пегарек.

Митя шел и думал, почему же умерла Маша.

В ее смерти он чувствовал и свою вину.

Всю последнюю неделю сестренка беспрестанно плакала и просила еды. Главнянька Митя сказал:

— Будет тебе, Машка, еда королевская! Над нами ж растет! Только вот еще чуток незозрелка...

Он пододвинул лавку к стене, взобрался на подоконник. С подоконника малец

дотягивались до веток яблоки — росла вприжим к окну. Митя рвал недозрелые яблочки. Они были еще горькие. Сладостей в доме не водилось. Когда-никогда перепадет детишкам в праздник по тощему кулечку дешевых конфеток-липучек. В редкость был и сахар. У Маши не было зубов. Яблочки Митя разжевывал и изо рта в рот выдавливал свою жеванину Маше.

Все ели, все живы... А что же Машенька?..

Две буханки-кирпичины желтого кукурузного хлеба, осклизлого, непеченого, выписал бригадир Батлома на поминки. Поля позвала соседскую детвору. Сквозь слезы смотрела, как взалхлеб ели. При этом мальчишки тайком отпускали ремни на целую дырочку. Когда-то еще столько дадут хлеба? Надо наедаться наперед.

Беда не живет одна.

Беда *здесь* теперь срослась у Поля с бедой *там*. Ей постоянно мнилось, что ничтожка смерти дочка вытянет и весь ком беды *оттуда*.

В поселке никого так не боялись, как почтальона.

То дважды на неделе бегала в центр совхоза на почту Аниса. Но разносить повестки-похоронки, эти вечные смертные крики, было ей неважно, и она столкнула эту беду новенькому почтарику.

Отощальный, побегливый Федюха Лещев — месяц назад отпустила домой война без руки по самое плечико — весь измаялся скакать по мазанкам. От него закрывались на засовы, прятались при встрече, ныряя куда вбок. И нарешил Федор вручать почту прямо на окопах. Там от каждой семьи кто да и катался всегда на лопате.

Он знал, где чья делянка, и, не желая смущать лишних, кружной петлей выстегивался в сумерках в нужном месте. Шел, ужимаясь, стараясь быть незамеченным. Однако его видели, не комар, и на всякий случай приседали в окопах. Вот вроде отстукивает мимо. А ну пади ему в глаза, не поднесет ли здравницу²⁸ *оттуда*?

Уже в третий вечер Федор приворачивает к Поле, все не отдаст письмо. Только была — нету! Как корова языком слизала да сжевала. Где она? Сыщи впотемну!

И на этот раз едва уметила почтарика — в ров, в кусты. Федору гнаться не в удобность, но и не таскать же ее цидулку до второго пришествия? Довод ему кажется убедительным, он срывается вдогонку.

Загрещало, заохало все живое под ногами.

В самую чащару залетела Поля птахой, запуталась в колючках пхали, толстой высокой стеной преградивших ей дорогу, упала. А встать нет ее, нет сил. С устали выпятила язык на плечо, никак не отпыхается.

— Шо ж ты... — загнанно окусывается, — шо ж ты, чертяка обрубленный, в ночь за молодой бабой у кусты прешь? У мене детворни трое по лавкам. Мужик живой! Чего ты лезешь не в свою лавочку? Иля думаешь, как без хозяина, так побегу за волей²⁹?

— А я, Поленька, не в конкуренции твоему Никите... Я скачу вследки не за потешкой. Я по делу...

Поля отдышалась. Встала.

— Фёдка, — повела задумчиво, — ты навроде взрослый мужик. Тебя даже на фронт призывали. Руку даже оторвали... А шо ж ты прикидываешься огурцом? Че крутишь пуговки? Че этим самым косяком порошишь? Иль ты в сам деле малоумный?! Или ты перекупался со своим столбом?

²⁸ Поднести здравницу — поразить неожиданным известием.

²⁹ Бегать за волей — нарушать супружескую верность.

Лещев надулся, засопел. Нашла чем попрекнуть!

По утрам, собираясь умываться, однорукий Федор сперва намыливал на крыльце столб, об который тер уцелевшую руку, поливал себе изо рта.

— Соображалистая... — проворчал без зла. — А умишка невдохват культурную загадку про письмо развязать. — Федор ткнул в ее локоть письмом. — Мог ведь под дверку сунуть. А я в ручки подаю. Надежно... А то не дай Бог утерается, а там важное что...

— Фе-едь, — повинно тянет Поля, — не корми обиду на бабский глупой язычок. Ляпанула сдурику... А ну там... — не найдет речей, ужимается от письма. Понимает, не то мельница мелет, а взять не откажется.

Федор впихнул ей грамотку в руку. Деваться некуда. Ни жива, ни мертва приняла.

— Прости, Федя, на слове худом...

Не до Лещева, не до окопов теперь. Воткнула лопату в куст до завтрашнего вечера и, не чуя под собой ног, ударилась домой, к Митьке. Видят все, при письме она, а не спросит никто ни словечка. Робеют липнуть с расспросами, надеются на лучшее. А какое оно лучшее-то, поди разгадай, и каждый в поселушке сторожко прислушивался к воздуху. У беды голос трубный.

— Ну-ка, Митька, сынок, читай скорше, шо тут нам от батька.

Мальчик поднес письмо к каганцу, трудно, по слогам отхватывает адрес. Все-таки каракулисто строчит отец.

«Глядит, как корова на писанные ворота!» — осуждающе думает Поля, в нетерпении теревит сына за рукав:

— Не сомневайся. От нашего батька. Рука его... Письмо — рука, а где рука, там и голова... Вышей от адреста, рядом со звездочкой... Что там черными книжными буквами сказано?

— А, это... **Будь бдителен, сохраняй военную и государственную тайну. Разглашение военных секретов есть предательство и измена Родине.**

Поля как-то испуганно суровеет, встает с табуретки.

— А ниже нашего адреса, — Митя стоит на лавке коленками, оперся локтями на стол и вертит конверт, — напечатано грозно еще... Вот слушайте... **«Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!»**

— Ну за кем же ще? — недоумевает Поля. — Ничего такого больше нема на конверте?

— Не-а.

— Тогда давай само письмо. Раздевай... Скидывай конверт... И-и, возишься... Тебя только за смертью посылать. А шоб тебя совсем!

Мальчик слез с лавки, набрал полную грудь воздуха, выпрямился и, чуть изогнувшись перед огоньком, мертво-помпезным, высоким, срывающимся голосом, каким на пионерском сходбище рапортуют преименитому гостю о готовности линейки к торжеству, пробарабанил:

— Письмо пущено сентября десятого!

— Шо ты орешь? Не в лесе. Уши полопаются!

Мальчик затужил. Ему вовсе не хотелось читать на обыденку. Это ж донесение *оттуда!* С фронта! Читать надо так, чтоб вся земля слыхала!

— Здравствуй, дорогая моя...

— От так и читай. Смирно. Без авралу.

— Ну, ма! Только сбиваете... Здравствуй, дорогая моя супруга Пелагия Владимировна. От супруга вашего Ник...

— Никиты, значит, — подсказывает Поля.

— У папки, ма, почти все без точек. С маленькой буквы все сподряд летит!

— А тебе горе? Завидки до озноба подкусывают? И ты поняй все заподрядки!

— От супруга вашего Никиты Борисовича шлю...

Скучливые приветы на полный лист остужают мальчика.

«Донесение с фронта называется. Куча приветов да поклонов всему району! Где ж воиница?» — растроено думает он и по диагонали проскакивает начало письма.

— Ты чего не все читаешь? — дергает его за руку Поля. Обычно отец никого не обделял вниманием. Поля наизусть помнила начала всех его писем, знала, какой привет идет за каким. — За приветом Анисе шел привет бабе Вале. А ты пропустил, зажевал.

— Ну раз вы знаете, что этой бабке-косолапке есть приветик, чего еще и читать?

— Ну, хлопче, так не годится. Читай, як положено.

— А что тут кроме приветов наложено?

— Митинг прикрывай, читай безразговорочно, — прихлопывает мама ладонью по столу.

Скрепя терпение, Митя наново читает все с первой строчки. Гудит уныло, монотонно. Оживает, когда наконец-то доезжает до интересного.

— А с неделю назад, — бодро зазвенел колокольцем, — со мной было такое пришествие. На всемка скаку убило подо мной Синичку. Лошаденка дробенькая, шустрая, а убило. Пуля клонула ее в грудь, прошила сердце (это посла узнали, проверяли, экспертиза называется) и пошла ко мне. На полмизинца высолопилась уже из спины, уткнулась в седло. Тут-то и нету ей ходу. Ребята сорочат, не судьба, видать, тебе еще, Никитока, белы тапки по ноге подбирать. Подмилостивил, подсластил сам жеребий, помолотишь еще фрицья. В ином разе, как затишок, без боя, возьмут весело на зубок: ну охвались, как это ты верхом на пуле прокатился?

А оборот оно такой. Хоть глупа пуля и прожгла сердце, а Синичка по воле инерции еще какой куцый шажок и сделала. Гляди, пуля уже у меня под седлом утаилась. Вроде выходило, будто несла она меня, будто ехал я на ней верхи.

Но ты на эти глупостя не клади вниманию.

Только вот малость тижоловато пришлось, когда Синичка кувыркнулась через голову. Я-то на ней. Запутался в стремях. Не вырваться. Да и сообрази сразу что почем. Вот мы и хряснулись союзом, вместях. Помяло меня малешко, самый пустяк. Ну, очухался, а встать не встану, завалилась Синичка мне на ногу. Кой да как вынул ногу из плена. Дерг, дерг за уздечку, а у Синички моей глазыньки стоят. Какой-то мураш чимчикует прямехонько по открытому главному яблоку. Синичка никак на то не отвечает. Тут я дотюпал: копец, нету больша у меня Синичка.

Хотели было запихать меня в госпиталь на дурной харч да на легкое житие, да я в обиду въехал. По мне, госпиталь — это где лапоточки надо откинуть. А чего мне лапоточки раскидывать, если у меня нигде никакой стоящей ранешки? То в блиндажике, то в окопчике полежу... Окунял. Безо всякого лазарета все посвятилось. А так боль ничего такого. Одна забота, одна работа — громи, Никита, Гитлерюгу.

Поля, пишу на коленке, кривовато подчерк идет. Подложил лопату — лучше.

Поля, не жалей мое тряпье, снеси в горы на зерно.

Рушник, что вязала мне цветами, весь целый. Я им не вытираюся, только ношу всю времю скрозь с собой. Память какая... Гляну когда — сердчишко обмирает.

Вот часть забыл. Часть нашу, Поля, крепко раздергало в боях. Осталось жиденько, человек так...

— Тут, ма, растерто...

— То ревизор по письмах затер.

— А... Значит... Осталось жиденько, человек так... да я, да шапка моя. На отдых, на подполнение часть нашу через два дня перекинут в Кубулеты. Совсем к вам под бок. Так что ты с Анисей и приехать проведать можешь. Передай Анисе на словах, что Аниса ее взяла под сохранность да в полюбовники везетеха. Жирно везет милушке, ни одна горинка не привязалась...

До скорого свидания, чистая моя реченька Поля... Ты — Поля. И живет под Москвой реченька Поля. По мне, так называли речку в твою честь. Про такую речку я узнал от одного сослуживца, он как раз родом из села Гармониха на берегу той Божьей реченьки...

Пугливо слушала Поля письмо. Ей все казалось, вот-вот Митя такое прочтет, что рухнешь с лавки. Но боязнь та была напрасная. Ожидание беды не сбылось. Сегодня беды уже не жди. Фёдька лишь завтра побежит на почту. И завтра вряд ли что будет нам. А там никаких страхов не выглядай. Мужик на курорте! Что страшного сварится на курорте? Переест пшенки с салом или перекалится на сиротском солнцепеке?

Счастье с ее лица обрызгало парней, стояли колечком вокруг, и в комнате повстелело.

Первые минуты, пока читалось письмо, Аниса толкалась у порожка. Потом как-то само собой так связалось, что она и не заметила, как подшмыгнула, прикипела к незанавешенной оконной полоске. Вполглаза следила за Полей. Коль не воеет, все покудочки путно. А разулыбалась — в письме верный глянец!

— Ну что там твой? — не стерпела, вломила Аниса. — Как дела?

— Два бела, трети, как снег! Лабунится приехать!

— Навовсе?

— Не-е. Поближше. Их часть в Кубулеты уже, поди, услали.

— А про моего молчит?

— С чего бы молчать? Живой твой. Весь целый.

— А знаешь, подружка, — раздумалась Аниса, — давай на выходной отпросимся и укатимся к своим хвастунам-певчукам на свиданку.

— Оно-то так, да из хаты как? Кто тебе даст той выходной?!

— Невжель за полный год не дадут один выходной? Слезой отыдем!

— Може, и отыдем. Да тогда на кого сю артель спокинешь? — Поля показала на сыновей, игравших в углу с козлятами. С четверенек Антоня угарно бодал оробелого Борьку, поджигал к ответному удару.

— Нашла об чем горевать! — осуждающе возразила Аниса. — Не ты ль пела, где нельзя перескочить, там можно пролезть? Перезвоним так. Съездим порозне... Я выплачу себе второй выходной, а ты поняй в этот. Невже я не угляжу за твоими козлятками-ребятками? Спокойно собирайся. Удалось кулику на веку! Случай такой не пускай... Вот к разу... Я к тебе с заданьшком от площадки. Вручишь командиру наши варежки... Эти варежки под моим глазом вязали девчатишки.

— Варежки я отдам... В горах заходит зима. Ко времени... А шо взять в гостинец своему да твоему? Хлеб не повезешь же?

— А зеленуху? Сегодня что у нас было с утраца? Пято-ок³⁰! Настраивайся к ночи с субботы на выходной... Подхватишь с собой одного своего парубка. А завтра Митьку ушли в Мелекедуры. Наране подыми, на коровьем реву. Пускай покорячтся на чаю у какого грузняки-куркуля да приплавит корзиницу груш, орехов, яблоч, царского виноградику. Пустые руки да базарные глаза кому радостины? Как лупать ото? Да там со страма сгоришь. Не так я кажу?

³⁰ Пяток — пятница.

*Обойми, поцелуй,
Приголубь, приласкай,
Еще раз поскорей
Поцелуй горячей.
Что печально глядишь?
Что на сердце таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей;
Мне не надобно их,
Мне не нужно тоски...
Не на смерть я иду,
Не хоронишь меня.*

Поезд на Кобулеты был всего-то раз в сутки, в пять утра. Чтобы поспеть к той невозможной рани на вокзал в Махарадзе, куда восемь верст, Поля вовсе не ложилась. Пока толкалась со сборами, ночь перевалилась на другой бок. К чему теперь разбирать постель, когда уже бежать надо, аж кричит?

И весь долгий черный путь в ночи до поезда, потом уже в самих Кобулетах от поезда до части Глебка трусил боком. Мама шла безотчетно быстро, торопливо. За руку держала его, боялась потерять. Чувствуя тепло маленькой жизни, она ступала смелей. В другой руке у мальчика неприкаянно болталась корзинка с бицолиным виноградом. Корзинка была зло тяжела, тянула книзу. После первого же летучего привала возле ветхого плетня Тamarочки, за речкой, через которую когда-то переводил маму за руку, он уже не мог идти с нею рядом, корзинка как бы отжимала, оттирала его назад. Из последних сил тащил ее за собой.

Бывало, в довоенные стригани ли он в лавчонку за хлебом, слети ли на низ к криничке по воду, кинься ли за охалкой хвороста в сарай, на обратном пути его всегда встречал отец. Выбегал навстречу, брал ношу. Мальчик и теперь привычно так ждал, что вот-вот из-за поворота разнепременно выйдет отец и поможет, подхватит еще и самого на руки, как делал частенько встарь. Но поворот кончался, уходил за спину, а отца все не было. Напрягаясь, мальчик без каприза дотягивался до нового заворота, зорко высматривал отца...

В хатке, слепленной на живую нитку под желтым шатром груши, был контрольно-пропускной пункт. Дежурный долго выспрашивал у Поля, к кому она, с чем да зачем, а там и скажи:

— Детсадовские подарки можно оставить у меня. А на свидание с мужем надо разрешение командира. Вас к нему проведут.

— Не обижайтесь, товаришок дежурный... Мне наказали, — Поля приподняла узелок с рукодельем, — передать это командиру из рук в руки.

— Пожалуйста, если так... — Дежурный кивнул подходившему молодому солдату. — Веди.

Глебка остался ждать в проходной. Сел на лавку, приник к стене. Клонило в сон. «Не спи. А то проспичь, как мамка с папкой пройдут». Глаза слипались, будто медом намазаны. Мальчик отвернулся. Пальцами, как распорками, раздвинул веки. Спать вроде расхотелось. Он опустил руки, вязко огляделся.

Подошел какой-то солдат и с интересом уставился на Глеба.

Глеб устало глянул на бойца. Лицо его показалось капелюшечку знакомым. Где видал? Когда? С проснувшимся интересом пялился Глеб на солдата, силился разгадать, кто же это.

Пристальный взгляд крохи подживил служивого. Он весело хохотнул:
— Долго думать вредно. Давай лучше поздоровкаемся, — и протянул руку.
Глебка быстро спрятал обе руки за спину.
— Я с чужими не здоровкаюсь!

И пересел на край лавки, подальше от незнакомца. Но уже исподлобья продолжал еще с большим любопытством смотреть на солдата.

Солдат отшагнул назад. Улыбнулся.

— Раз интересней смотреть сыздаля, сколь хошь смотри и так. Глаза непокупные.

Он достал зажигалку, просяще проговорил ей негромко:

— Царь-огонь, достанься. Не табак курить — кашу варить.

И чиркнул.

Пламяшко выскочило из зажигалки и запаталось.

Глебка не удержался на лавке. Подбежал:

— Как же вы будете варить кашу, если тут у вас нету даже печки?

— Огня тоже не было! Но я добыл. Добуду и печку! Только я не могу сразу два дела делать. На, поддержи пока... Ро-овно держи... Во, во так...

Глебка никогда не видел зажигалку. Какая диковина! Как в этот железный столбок залез огонь? И как ходил с ним дядя и не сгорел?

Мальчик зачарованно смотрел на шаткий на легком ветерке огонечек и не мог насмотреться.

Солдат деловито одернул на себе гимнастерку, прокашлялся, приставил козырьком ладонь к глазам и стал строго смотреть во все стороны.

— Что-то не видать... Надо повыше встать...

Солдат встал на высокий камень и уже с камня продолжал высматривать свою ненаглядную печку.

— Так где же она?! — в нетерпении крикнул Глебка, ожидавший второго чуда от волшебника-незнакомца. — Где ваша печка?

— Где и ваша, — ласково буркнул мужчина. — Или она бастует? Ждет особого присоглашения? Эта печечка слегка недовоспитанная... Задерживается, как все мадамы. Пока наша мадама в пути к нам, давай я расскажу тебе какую-нибудь забавку...

— Да хоть сто! — согласился Глебка, не отпуская восторженных глаз от бойца.

— Правда... Да ну ни шиша путного на дитячий ладох и не знаю. Ни одной баечки. Вот вьется на языке одна. Можно на патефон такую. Жаль, не дитячая... Пстой! Ты ж не будешь вечно мальцом? Ты ж вырастешь? А?

— Угу-у...

— Кидаю кусок наперед. Сгодится в жизни. Вспомянешь под горький момент, как усатый дядька пел про зятя в приймах. Не ходи, хлопчина, в приимы. В приймаках худо. А ну будут теща с дочкой себе вареники, а тебе лишь юшку? Так кормила одна теща зятька, чтоб ног на сторону не занашивал. Вот тещенька благополучно подала Боженьке свою душу. Боженька добрый, безотказный, скоренько зачислил в свой штат. Он всякого примаает... Вот похороны. Зять над гробом тужит: «Ой, теща, ты ж моя теща, женщина-мати! Вы ж было вареники едите, а мне юшки дадите. А я ем, ем та ще и напьюся...» А жена и подсоветуй: «Ох, не плачь так, человеце, а то мать не подымеешь и сам свалишься в могилу».

С напряженным недоумением слушал мальчик и лишь вздохнул, когда солдат — он не смеялся, отпуская шуточки, всегда был серьезный — перестал говорить. Солдат деликатно поддержал компанию, тоже вздохнул.

А между тем мальчик внимательно рассматривал солдата и все крепче убеждался, что знает его.

— А вы, — насмелился Глеб, — еще не в усах пели на крыльчке про дождичек...

— Было крыльчко... был дождичек... Был и ты совсем клоп. Я тебя с горшка знаю. Вот такая выплясалась комедийка. Совстрелись однобарачники где!

— Дома вы не таскали усы. А теперь вы зачем-то умаскировались?

— От холода. В горах холодно, а с усами теплой. Мне их и подпихнули под расписку.

— Неправдушка... Дома зимой тоже холодно. Тогда чего вам дома не дали?

— Забыли, озорун... Главное, что ты не забыл дядьку Аниса... Вырос как... Молодец, стараешься!.. Через недельку, как сказала твоя мамка, и ко мне нагрывает моя Аниса... Как она там, бедная, одна и крутится?..

Анис все косил на воду, влюбовинку наблюдал, как его напарники мыли в речке лошадей. Не утерпел, похвалился:

— Лошадушку накорми, искупай — вид дает. Вид!

— А вы почему свою не купаете?

— Уже отбанил...

Рядом была конюшня. Из нее послышалось придушенное короткое ржанье.

— Иду! Иду! — открикнул Анис и пояснил Глебу с дежурным: — По голосу все-гда узнаю своего Верного. Может, — сказал Анис Глебу, — пойдем познакомлю тебя со своим Верным?

— Пойдем!

Но тут из-за угла вышла мама и позвала к себе Глеба рукой. И, не дожидаясь Глеба, торопливо засемила к отцу. Он уже расчесывал своему конику гривку своим гребешком, стоя по щиколотку в речке.

Глеб слышал, как мама окликнула отца. Видел, как они обнялись в реке, и мама выронила свои гостинцы в соломенной кошелке. Но никто из них и не обратил на это внимания.

Видел мальчик и то, как стремительная ясная вода не удержала узелок на своей гладкой спине, зло горбящейся на камнях, вжала в себя и хлопотливо покатила по дну вниз, к морю.

Выронил Глебка корзинку с виноградом, со всей силы побежал к отцу с матерью.

Отец подсек бегущего Глебку на руки, прижал к себе и — заплакал...

— Спасибо, что приехали, — благодарно зарокотал баском Никита, присаживаясь с Полей тут же на траву и поудобнее пристраивая Глебку у себя на колене. Глебка крепко обнял, венком положил руки ему на плечи...

...Уже перед расставанием Никита спросил Полю:

— А парубки наши слухняные растут?

— Разные... — уклончиво ответила Поля.

— Это как, Глеба? — спросил отец. — Ты слушаешься?

Глебка опустил голову и повинно шепнул:

— Не во все разы...

— Так-то, — сказала мама, — вроде стерпимо, а часом... готова ремешка не пожалеть...

Глебка еще ниже угнул голову. Ему непонятно, ну зачем мама присочиняет? Да, под ерлашный случай она хватается за ремень, только воли особой не забирает с ним. Взмахнуть взмахнет жарко, зато опускает уже как тряпочку скомканную, без силы. Размах на рубль — удар на копейку! Не подымается душа бить. От ее ударов не больно, а щекотно. Она только на словах дерется. Зачем же сейчас наварила каши на постном масле?

Однако вслух Глеб не стал ей перечить.

— Гле-еб, что это такое? — шатнул Никита мальчика.

— Я, па... с сегодня... исправлюсь...

— Всеконешно, таковски оно способнее, вертушок! — вскинул отец руку с золотыми чубчиками на пальцах. — А словко свое удержишь?

Глеб торопливо покивал.

— Ты и тем казачкам, Мите да Антону, передай моими словами, чтоб крепко слушались маму.

— Я, па, передам... Мы, па, изо всех сил стараемся слушать. Да у нас, па, не всегда получается. А так, па, мы слушаемся...

Сыновий щебет мажет душу медом.

Отец тесней прижался к Глебке и с его плечика увидел корзинку с виноградом.

— Гостюшки! Дорогушки! А погляньте! Чего сам водяной нам подал! Не было ж секунд назад — теперь вон стоит!

Мама и Глеб посмотрели, куда показывал отец.

— Ну да! — гремел отец. — Подарок товарища водяного! Вынырнул! Ходить по суше не может. Он и выставь корзинку на траву у самой воды. Со спеху свалил на бочок...

Мама и Глеб оторопело уставились друг на дружку.

— Шо ж мы, Глеб, за лахудры? — кисло ворчит мама. — Я свой гостинец в речке втопила. А ты с каких далей тащил, тащил, а два шага до батьки не дотащил?

— Я как бежать к вам в речку, — покаянно бормочет мальчик, — поставил корзиночку на берегу. А перекувыркнулась это она уже сама...

Глеб вихорьком слетел с отцова колена. Вернулся с виноградом.

— Это, па, — в радости подает, — вам подарок от тетеньки бицолы.

— Ты эти провокаторские подношения брось! Нигде у меня нету никакой тетеньки. У меня на веки вековущие одна-единственная от Бога тетенька — наша мамушка! — Никита весело приобнял Полю.

— Никиша! А малый с правдонькой к тебе, — сказала Поля. — В самушном деле, була и я у той бицолы. Там проста, як трава!.. Ну-к, Глеба, доложь про свои патишества с Митенькой за цим виноградом. В кратких словах...

Коротко не получается. Подробный запальчивый рассказ сына трогает отца. Глядит он на Глеба, видит себя таким же вот в семь лет. Отцово детство было такое же горькое. В ту пору отец отца тоже был на войне, бил того же немца. Дома одна мать с табором малышня, как Поля сейчас.

«Боже мой, — думает Никита, — да выросло на Руси хоть одно поколение без войны? — Подгребают к себе сына, жметса к худому личику. — Бедная ты моя травинка, какие ветры тебя будят по утрам? Какие дожди умывают? Какие грозы кормят бедами? Какие бури клонят головку твою под германский топор?..»

Сжимаются тонкие губы, взбухают желваки.

В совершенном безмолвии он скорбно вышагивает к своим товарищам, что облепили в молчаливом курении высокий толстый камень на берегу, припали к сиротскому осеннему последнему теплу голыми спинами. Ставит перед ними на камень корзинку, говорит отрывисто, надсадно:

— Смалюки! Кончай травиться! Атакой налетай на витамины... Витаминици! Прислала грузинская вдова. Наказывала: сколько в корзине ягод, столькоких годов и должны порешить те, кто виноград этот съест. Ни пули-ягоды на промах! Ешьте и помните о наказе.

Уверенные руки тянутся вверх, к корзинке. Отщипывают по яголке.

Ненастный Никита возвращается с пустыми руками.

«Шо же ты себе не взял ни гронки? — укоряет его взгляд Поля. — Даже не попробовал?»

Вслух спросить она не решается. Вспомнилось, обнесли гостинцем и Семисынова.

— Глеба, шо ж мы скрутили? — жалостно роняет она. — Мы ж дядьку Аниса даже не угостили виноградом!

— Не суши голову, — подсел к ней Никита. — С Семисыновым мы разойдемся. Как он говорит, между нами пройдет. Мы с ним кавказцы. Винограду, этой радости, от пуза попоели в добрую времю. А им, — показал за плечо на толкучку вокруг корзинки, — виноград в диковинку. Земляки... С-под Калача... С-под Богучара...

Отец нахмурился и посветлел лицом.

Видимо, что-то вспоминал.

— Сегодня снился Антон, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Вроде я пришел уже с фронта. Взял его на руки, обнимаю, а он — ножками по лицу меня, ножками да с ревом от меня... Провожать — ножками по лицу. Встречать — опять теми же ножками по тому же лицу... Наснитя же...

— Правильный сон, па, — сказал Глеб. — Антоха драчливый не только во сне. Но и так... Не во сне. Вечно с козлятами бодается. А набодается, бежит под окно. Там у нас кучара песку. Ух, гоняет машину по песку! Кирпичина у него машина...

— Шофер будет.

— Для шифера он еще маленький... На песке строит девчонкам дороги, мосты...

— Серьезный...

— Баловной! И дома, и на площадке я эту малявку в угол ставлю!

— Сам-то давно из угла выскочил? Еще при мне ты сам сначала все эти углы в саду обживал. Во всех стоял? Ни один не пропустил?

— Ни один, — вяло подтвердил Глеб.

— Господи-и! Как ты вырос... Ка-ак ты вырос...

Никита гордовато обошел взглядом сына с головы до пят. Ненароком глаза упали на ноги жены.

— Поля! — взбулгачился он. — Да ты вся мокрая! Калоши, чулки, низ юбки! Разуйся, сдерни чулки. Хай просохнут. Простынешь же!

— Наскажешь! — замахала на него Поля. — Иль я сюда простывать приехала? Рассядусь сушиться? Командир и так дал на свиданку всего пятнадцать минутшек. Побегу з малым назад каменюки считать, — она посмотрела на тропинку в мелкой гальке за забором, — пока докачаемся до поезда, так и обсохну, и снова взмокрею вжэ от пота.

— Ну, смотри... Чем вы кормитесь?

— И не спрашуй... Кукурузы осталось трохи. Жарим, толчем, суп варим. То и весь навар, шо пена...

...Никите разрешили проводить дорогих гостей не только за проходную, но и до первого поворота.

Темнело.

С поворота дорога черно падала вниз.

Простившись, Никита вскинул руку с пилоткой и тревожно-нежно, цепко смотрел уходившим вслед, словно хотел навсегда наглядеться...

*Где вы, дни мои,
Дни весенние,
Ночи летние,
Благодатные?
Где ты, жизнь моя,
Радость милая,
Пылкой юности
Заря красная?*

Вчерашние Полины слова про то, что вот они, сыны, совсем безразличны к отцу, не ходят к городской дороге его встречать с войны, так обожгли Антона несправедливостью, что он и сказать ничего не нашелся, только помрачнел, насупился и лишь наутро подобие кроткого, вязкого смирения качнулось в его глазах, когда мама раздавала задания на после школы.

На обед она домой не придет. Работала в дальнем углу плантации, там и подхарчится насухомятину одними яблоками да с посоленным куском хлеба.

Митрофану пало бежать за три версты в Еремин лес за водянистыми ольхами. Сентябрь к зиме мажется, лишняя вязанка дров не помешает. Глебу на пару с серпом идти за мост резать папоротник в компании скрипучей баловливой певички, одноколенной тачки. Привезти и обложить папоротником стены в сарае. Все козам уютней будет в холода.

А Антону наказ простецкий. Насбирать опадышу, сухих сучьев. В ветер сами валятся с елок, что насажены вдоль дорог.

Мальчик еле выждал последний урок, стремглав примчался домой. Посиневший тоскливый соевый суп есть не взялся. Живо-два переоделся в приношенные, в подпрелые обноски — до него грели Митрофановы, потом Глебовы мослы — и сразу опять на ту стрелку.

И хотя возле района опадыша внавал под ногами, подбирать вовсе не горелось. Местами сучья вмыло дождями в глину, выгрязнило. Пускай с земли девчошки да старухи метут, а сова-молчун наломает чистенького сушняка на верхах!

Обирая сушенину, он белкой всплывал на самую маковку и, раскачавшись, сноровисто перемахивал на соседнее дерево. Ходебщик по верхушкам деревьев... Перебираясь с дерева на дерево, он долетал до крайней елки у городской дороги.

С гудящей, с шаткой выси то и знай пристально, ждуще глядел из-под руки в сторону города. Удивительно ясно и далеко был виден большак.

Люди в гражданке пропускались мимо внимания. Но едва обозначься на горизонте кто в военном, мальчика прошивал озноб. Он суматошно слезжал с елки, вприбег сносил обломьши в вязанку.

А в голове роились стада мыслей. А вдруг он мне отец? А как я узнаю его? Я его не знаю, не помню... Так пускай он сам узнает меня!

Мальчик держался на видах. Прохожий еще издали мог в доточности его рассмотреть. Мальчик знал, что весь просвечивался, как под рентгеном, под взглядом незнакомца, и впотаях сам следил за ним. Однако человек проходил мимо. Мальчик разбито примирал...

И скольких военных встретил и проводил он щемящим, зыбким взором...

Оставалось самую малость добрать дров.

Он снова полез на елку.

Слипались, плотнели сумерки.

Мальчик ватно счახивал хрусткие сучья, медленно поднимался. Он велел себе

больше не смотреть на городскую дорогу, изо всех сил старался не смотреть, но скоро поймал себя на том, что безотрывно смотрит на дорогу и видит военного с крестом ремней на груди.

У мальчика радостно охнуло сердчишко. Он камнем слетел на землю и невесть почему пустился ему навстречу.

На стрелке мальчик стгушевался, стал. Удобно ли идти дальше? Сомнение тут же выпало из головы: дяденька военный вывернулся из колена большака. Шагал он, рослый, сильный, широко, спешно. Он сразу заинтересовал собой, своей молодецкой выправкой. Мальчик без стеснения смотрел на него во все глаза, смотрел с изумлением и в то же время еще вроде как с досадой.

Мужчина подошел, остановился и улыбнулся так просто, так хорошо, будто они были отец и сын и только вот вчера вечером разошлись.

— Папку с фронта ждешь?

Мальчик зарделся, неуверенно кивнул.

— Ты не Долговых ли будешь? И у тебя мама Поля?

— Ма-ма По-ля... — по слогам конфузливо подтвердил мальчик.

Военный сраженно отступил шаг назад, как бы собираясь получше рассмотреть мальчика.

В мальчике шевельнулась неясная надежда, кольнула в маленькое сердечко и засмеялась. Мальчику не хотелось, чтоб она пропала, он смотрел мужчине прямо в глаза, ждал еще вопросов. Но тот странно молчал. Гладковыбритое лицо с кустоватыми морщинками на лбу враз побелело; дрогнули, скривились губы. То ли заплакать хотел, то ли улыбнуться.

— И у тебя еще два старших брата... Митя... Глебка... Сам ты Антон.

— Откуда вы все знаете? — обомлел мальчик.

— Отцу положено хоть по именам знать своих сыновей...

Военный опустил на одно колено перед мальчиком, прижался к нему и поцеловал.

— Вот мы и встретились, сынок... Встретились... Ты чего такой смурый? Или не рад?

— Я весь радый... — нерешительно пробормотал мальчик, глядя в землю.

— Ну, раз радый, поцелуй для начала, что ли?..

Военный ласково тряхнул его, ребячливо потянул себя за щеки в разные стороны, подставился. Лицо сделалось уморительное, потешное, как у бурундучка. Наливаясь смелостью, мальчик со всей сердечной отдачей ткнулся холодным носом в жесткую щеку.

— Так бы и давно! — Военный весело подхватил его на руки и твердо зашагал к поселку. — Сынок, ты в школу уже бегаешь?

— Вчера первый день ходил. Я еще поведу вас к Сергею Даниловичу. Пускай посмотрит, какой у меня папка. А то вчера знакомился он с первоклассниками... Все называли себя правильно. Все знали, как их папков зовут, только я один не знал. Вы ж ушли на войну, я был совсема малюхонький.

— Все верно. Причина уважительная.

Сколько помнил себя мальчик, он впервые оказался на руках у отца. Это было Бог весть какое счастье. С превеликим торжеством он выпрямлялся, когда накачивался кто навстречу — здесь могли быть лишь свои, из поселка, лучше собственной ладони знали друг друга — и на всякий вопросительный взор гордегато взглядывал на отца, как бы похвалялся: «А это мой папка! Поняли?! Вот такой хороший. Вот такой сильный у меня папка!»

Однако мальчика несколько смутило, что никто из встречных не заговорил с отцом.

А может, они просто завидуют, что отец такой добрый, такой молодой, такой

видный? Конечно! Конечно, завидки щиплют! Пускай отца я не помню, так зато он меня распрекрасно угадал первый!

— Сынок! А теперь ты знаешь свое отчество?

— А то! Никит...т...т...т...т...

Антон забуксовал. Битый час мог тырчать, так и не выговорив свое крючкова-
тое отчество.

— Никитич, — опало подправил отец. Он пошел как-то медленней, тяжелей,
без желания. Это сразу уловил мальчик. Забеспокоился.

— Вы устали?

Отец с усилием, раздерганно улыбнулся:

— Хоть ножом режь³¹.

— А по правде? Без смеха?

— Разве по мне видать?

— Очень даже. Устали! Устали!!

Мальчик соскользнул с рук, схватил отца за указательный палец и торопливо
поташил по бугру к бараку. Важно толкнул плечиком свою дверь.

— Ма! Посмотрите, кого я привел! Целого папку!

Поля — она чистила картошку — выронила и картошину и нож. Нож впился
носом в пол, закачался между ногами и вошедшими.

— С... Сер... рега!.. Якими бедами сюда?! — часто моргая, в растерянности про-
бормотала Поля, занялась вытирать руки о полотенечко у печки. — Иле ты жи-
вый, иле то тень твоя?

— Живой... живой... варакушка...

Она неловко подала ему руку, и он долго, крепко ее жал; они смотрели друг
другу в глаза, полные слез, и каждый стыдился этих слез, боялся, что вот-вот про-
жгут наружу, а потому на миг отворачивался чуть в сторону и тут же снова невер-
яще, хватко всматривался в святые черты, словно проверял, в самом ли деле перед
ним тот, чей голос только что прозвенел золотым колокольцем из юности.

«Что это они трясут друг дружке лапки без конца? Заело, что ли? Иль не могут
для разнообразия поцеловаться?» — подумал Антон, и его недоуменный, ненаст-
ный взгляд ожег Полю.

Краска ало мазнула ее по щекам. Поля виновато выкрутила свою руку из цеп-
ких, липких горбылевских пальцев, всполошенно засуетилась, запричитала:

— О-е!.. Да чего ж мы стоим, як малые дети?.. С дороги... Надо сготовить...
Я печку зараз... Антонька, где твоя вязанка?

Мальчик покаянно плеснул руками.

— Ма! А за папкой я забыл про дрова! Набрал, у стрелки связал под первой ел-
кой. А принести забыл...

Горбылев не знал, куда себя и деть в эту тягостную минуту. Этого еще не хвата-
ло. Из-за него остались без дров!

— Я пойду! — стараясь выпередить всех, пропаще пальнул он.

— Не-ет, — ласково возразила Поля. В ее ласковости были власть, необоримая
сила. — Ты гостюшка в доме, а гостюшка пленник. Як скаже хозяйка, так и будэ.
Передохни с дороги... Я сама пойду. А то кто щэ халне... Я скорушко, скоруш-
ко... А ты, Антон, сидай за уроки, делай, начинай...

Поля ушла.

Мальчик достал из сумки тетради. Сел к столу.

— Чудно как в этой школе... — Он макнул перо в пузырек из-под лекарств,
чернила сам делал из бузины. — Заданию дали — списать крючочки на полную
страницу! Зачемушки так много крючков? Я одну строчку испишу, уже буду

³¹ Хоть ножом режь — предельно устал.

знать... И чего мазюкать кусочки букочки? Я и так уже умею писать целую, а!.. Во всех книжках ее узнаю... — К бочоночку он усердно привесил долгий пухлый крюковатый хвостик. — Вот и первая моя Аюшка!..

Буква явилась уродливая. Но ему она нравилась и такая.

Антон поднял на Горбылева глаза, полные любопытства, торжества, удивления, досады, повязанные крутой обидой.

— Па! Вы Ник... — Мальчик вздохнул, набрал в себя воздух. Имя отца он еще ни разу не произнес с ходу, ни разу не слил единым духом в одно слово. Он останавливался на середине. Копил силенки. — Вы Ни...ки...та?.. Или чужой Серега?.. Вы папка мне?

— Это выяснится чуток позже... Но сегодня... Все зависит... от нашей мамушки...

— А от вас совсем ничего?

— Совсем ничего...

— Не верю, — твердо сказал мальчик. — Зачем ма назвала вас Серегой? Я думал, вы обидитесь. Не отзоветесь... А вы отозвались. Навели вид, что ма вовсе и не оговорилась, и не обшиблась... Она вот точно обшиблась! Обшиблась же! Да? Ну скажите — обшиблась!

Кто бы мог понять, что кипело сейчас в бедной солдатской душе? Горбылев не смел поднять головы, не смел произнести всего единственное одно слово.

За дверью заухали спасительные шаги.

Вошел Митрофан с ведром воды.

— Здрасьте, — поклонился слегка незнакомцу.

Горбылев благодарно кивнул. Спасибо, водоносик, отбил от смертного допроса!

Обеими руками поднял Митрофан перед собой полное ведро, напрягся так, что жилы вспухли на висках, поставил в угол на табуретину.

К Митрофану подбежал Антон. Повис на шею, жарко зашептал в ухо:

— Э! Митюха! А знаешь, кто это? Папка!

Шепот был громкий. Растерянный Горбылев отчетливо слышал каждое слово.

Горбылев весь сжался. Что-то скажет Митенька? Подумать... Тогда, в Новой Криуше, этот первяк лежал у Поли на руках, и Горбылев пытался умыкнуть ее вместе с сыном. Теперь этот Митенька был не по плечи ли самому Горбылеву. Горбылев надставил ухо. Вытянулся в нитку слуха.

— Папка! Не веришь? — долбил свое Антон.

Митрофан брезгливо поморщился.

— Что ты поешь, дядюня-сарай³²? Харэ балдеть. Харэ выступать не по делу.

— Я те говорю!

— Хо! Ну, бесогоник, в твоём кумполе, — калачиком указательного пальца Митрофан тукнул брата по лбу, — все шарики поплавились. Вчера на всю школу ревел — не знаю отчества! Сегодня он уже казакует при живом папаньке! Ты хоть изредка думай, что мелешь, макарка! — Митрофан зачерпнул кружку воды. — На! Напейся и не майся дурью.

Антон оттолкнул кружку.

— От такого слышу...

Митрофан подвел брата к увеличенной фотокарточке на стене в картонной оправе:

— Не знаешь отца в лицо? Так вот смотри. Запоминай. Не спутай. Слева в платке ма. А это вот, в галстукe, наш папаня, хрусталик ты мой неразменный³³!

Исподобья, воровато Горбылев прикипел к карточке.

³² Дядя - с а р а й — разиня.

³³ Х р у с т а л и к — рубль серебром.

— Это они снялись вскоре после свадьбы, — пояснил Митрофан. — Мама говорила...

— Да, похоже... Тут она молодая-размолодая...

Разговор не вязался.

Легло молчание.

Митрофан слышал, негоже оставлять гостей без внимания. Спросил первое, что вошло на ум:

— А вы из города?

— Оттуда.

— Вы уполномоченный по займу?

— Почему ты так решил?

— У нас подписывались на заем. Мама подписалась не на всю катушенцию. Так бригадир страхи напускал. Вот нашла на тебя уполномоченного, подпишешься как миленькая!

— Гм... — глубокомысленно сказал Горбылев. Больше сказать ему было нечего. Он подумал, повторил: — Гм... гм...

Темнели окна. Густая чернь уже затопила углы. Но мальчишки все не зажигала каганец. А чего зажигать? Надо экономить. Голоса и без света слышать.

Горбылев кислотова покосился на Митрофана.

Во встречном взгляде подростка было что-то такое, что не сразу понял Горбылев, — осуждение, вражда, удивление, — и всю эту кашу чувств покрывал, как показалось гостю, разгульный, неистовый гнев.

Несколько мгновений они безотрывно смотрели друг на друга, будто взгляды их заклинило. Первым не выдержал этот поединок Горбылев.

— Гм, — буркнул он и, теряясь под холодными, застегнутыми взорами, машинально попятился к двери.

На крыльце он остановился в замешательстве.

«М-может, вернуться с видом как ни в чем не бывало? Потолковать еще?.. Об чем?.. И так уже напелел, пентюх! Зачем было навяливаться в отцы? Как глядеть им в глаза?..»

Он неуверенно потянулся к дверной ручке, однако взяться за нее у него не хватило духу, и он, постояв-постояв с протянутой рукой, разбито сошел со ступенек.

Торчать колышком у дома и вовсе не рука. Не лучше ль с хозяйшккой сбежать по дрова?

По едва заметной в тугих сумерках тропке, что сливалась с бугра, ударился он догонять Полю.

— Сережа, иле ты тупотишь? — скоро обернулась она на сапожиное уханье.

— Я... Я, Поленька...

Он прикинул.

За то время, что она ушла, она могла уплясать ого-го куда, а она отскреблась от барака всего-то на воробьиный скок. Добрая догадка шевельнулась у него в груди. Верила, ждала, что нагоню! Вот я и весь тут в полной наличности!

Сергей пошел рядом. На узкой стежке тесно идти вдвоем. Они цеплялись руками друг за дружку, и предусмотрительный Сергей поймал ненароком ее за запястье.

Она не забирала у него свою руку. Значит, не забыла, любила? Значит, все выходило на благодатную дорожку?

Он сильней стискивал ей пальцы. Она же растерялась, подивилась, что вот мужчина взял ее за руку. Неужели она еще та, на ком может ожить, отогреться мужской глаз?

Горбылев заскочил ей наперед, обнял и дрожаще потянулся к ее губам. В ней пропало ощущение удивления собой, она резво отвела от себя стремительно надвигающееся в темноте его лицо.

— Господь тебе навстречку, Сережа... Отвыкла я от такого баловства...

Он снова взял ее за руку.

Она свернула тяжелую, в трещинках, ладонь в желобок и, высверливая его из его руки, вывернула быстро, до неожиданности легко, так что даже сама с укором посмотрела на него, мол, а что ж слабо так держал?

Может, ему поблазнилось, что именно это прочитал у нее на лице, но не занялся, как в жаркой, в лиховой молодости испытывать судьбу, отвял с приставаниями и понуро побрел рядом.

Ей и в самом деле было неприятно, что в грубости обошлась с ним, хотелось как-то замолить свою резкость. Она то и дело участливо, тоскующе заглядывала ему в лицо, внешне спокойное, озадаченное, и от этой спокойности помалу становилось уверенней у нее на душе.

— Как ты меня нашел в этой Грузии? Где прознал, шо я в Насакиралях?

— Проще простого, — отходчиво вздохнул он. — Твои письма бегают за Воронеж к старикам на хутор Собацкой?

— Ну...

— А читает кто их твоим старикам? Пишет под диктовку кто? Моя сестрица... Вот и вся разгадушка... Живешь-то как, Поленька?

— Живем... День да ночь и сутки прочь, так и отваливаем!

— А все же... Как?

— По-всякому... То плохо, то погано...

— Ка-ак?! У тебя ж тут Кавказ!

— А думаешь, Кавказ медом мазанный?.. На севере было холодно, темно... А тут вечная сырая баня. Малярия...

— Чем ты занимаешься?

— На чаю курортничаю... С севера слетели вниз... Уквартировали нас в бараке на первом районе. Лет с пять там отжили — ан нас перевозят сюда, на пятый район, а поселочек на первом районе весь пошел под тюрьму. Все бараки, где мы жили, теперь тюрьма. Мы и не подозревали, что роскошествовали в тюремных дворцах... Что тюремщики бьются на том чаю, что мы, нетюремщики... Какая между нами разница? Та и разница, шо их поселушек обнесли колючей проволокой, а наш — штакетником... А так все остальное то же... Шо у тюремщиков за проволокой и шо у нас, по сю сторону проволоки... Одни дожди нас купают, одно солнце нас выжаривает на чаю... Чай, эта подлюка, какой же он раскапризный! Почти круглый год, зараза, не отпускае. Особенно круто летом, в сезон. День який перестоял, уже в первый сорт негожий. Поэтому из нас тут все жилушки выдерживают. С темна до темна собирай той чай. Ряды тесные. В погожий день утром войдешь — сразу по сердцу мокрый. Роса! И до обеда раком на солнце париться. Вот тебе и бесплатна баня. А дождь посыпал — все та же баня. Не густьят с плантации, покуда чайники те проклятые бачишь... Малярийные, гнилые места... А обжились... Та шо про меня? Ты б вон чего сказал... Как в Криюше, в сенокос... Когда чуть не увез меня...

— А, кабы без этого *чуть*... Я тут сбоку напеку... Мне б и ладно было на душе, будь у вас с Никитой все хорошо. Говорил же я тогда тебе... Как вернулся свекор из лагеря, надо было с Никитой бежать из Криюши куда глаза глядят.

— Ты мне такого не говорил.

— Верно. Хотел сказать, за тем и наезжал в Криюшу... Да не удалось сказать. А вот во сне говорил... И не раз...

— А я и разу не слыхала...

— Уехали б сразу, как дед вернулся из лагеря... Не было б тогда ни заполярного севера, ни этой, — он потукал пяткой сапога в дорогу, — ни этой малярийной Грузинщины. И не было б этого *чуть*...

Он вслушался в сухо выпархивающие у него из-под сапог мелкие камешки и прыгающие попереди них. С устали Сергей еле волочил ноги по боку дороги, отчего зернисто-каменная мелочь веселым веерком прыскала из-под носков, катилась и летела, тенькая. Ему нравилось слушать звон камешков, оживающих у него под ногами.

— Так как ты тогда-то? — спросила она.

— А-а... тогда-то... Что ж тут вспоминать? Как видишь, цел. Ну и на том спасибо доле. Раз живой, не ищи в мертвых... Сильно мне тогда угладили криушанские холку. Вернулся в себя уже в ночи... Вот так же темень, прохолодь. Очнулся — звезды низко. Не пойму сразу, что я, где я. Только потом доехало, что видеть мне те звезды с белый кулак вон за какое счастье доспело... За Полюшку... Не знаю, когда б я и опомнился, не слышшь, как сквозь сон, ржанье легкое коня... Явственно чую, как ласково овевало, опахивало меня живым духом. Заламываю лицо вбок — мой запряженный буланик печально мотает головушкой. Чисто спрос тебе родительский сымает, докуда я буду вылеживаться...

— Ох... Позверели люди, забили до смертей да и спокинули человека одного домирать. А скотиньяка разумность, жалость имеет... Ждет, шагу не отступнет от хозяйна. Имей руки, рази она не унесла б его домой?

— Да-а... Долго еще надо человеку учиться у животных добросердечию, чело-веколюбию... Почернел мне без тебя белый свет. Крест я поставил на комсомоле. Махнул в председатели. В Скрыпниково. Прямой ведь резон служить мне при земле. У меня ж диплом агронома, непотопляемый поплавок... Колхозишко достался с листок, ладонь у меня пораздольней. Дела вроде путно вязал. Вроде на свою месту набежал. В почетность вошел. Всяк кулик на своей кочке велик... Затерся в глушинку, до самой войны день в день отстрелял. Была мне броня. Мог в председательской норке отсидеться. В начале войны предложили в райком уже партии. Инструктором пошел. И бронька моя со мною пошла. Но не усидел. Руки-ноги при мне, чего ж бронькой прикрываться, как фигой?

Сергей смолк.

Поле хотелось все знать о нем, однако спрашивать не смела. Боялась, а ну примет ее расспросы еще в обидную сторону, за разведывалку, и какое-то время они молча шли в чернеющих сумерках.

Думалось-вспоминалось свое.

Она вспоминала молодые годы свои громкие. Вспоминала скрадчивые встречи с ним. Вспоминала замужество, Север, жизнь в Насакиралаи, жизнь вязкую, отчаянную, армячную.

А ему и вспомнить порядочного нечего. Всю войну протерся по кабинетам штабной мелкой мышкой... Политрук...

Горбылев шел в темноте и видел свою войну, свой Собацкий, свою криницу, свою рощу и Полю в ней, шла из Кriuши... Он так прилип к *своему* кино на ходу, что даже вздрогнул от неожиданности, услышав Полин голос.

— Сережа...

Поля осеклась.

Больше всего не выносила она молчания, когда рядом был кто. Это молчание ей острее ножа. Голос ее прозвучал как-то неловко, просительсно. Пожалуй, она не знала, про что сказать, но одно в ее тоне было ясно: мольба не покидать ее вниманием.

— Сережа... — машинально повторил Горбылев, без охоты отпихиваясь от своих воспоминаний. — Я, Поленька, тридцать семь лет уже Сергунек с шальной башкой.

— Какая ни шальная, а, бач, Бог миловал, вывернулась с-под пуль, — раздумчиво потянулась Поля к слову.

— Значит, судьба отсрочку подписала... Только не сунула под пулю, а остального, как и всем, до горла насыпала. С верхом навалила шапку, навалила да и прибила тяжелой рукой. Утоптала. Плен... Лагерь... Чужбина... Ранения... А и на чужбинушке партизанничал в итальянских горах. Бил немчуру до последней до поры.

— Это ж какая последняя пора? Девятый Май?

— Не-ет. Про Победу не сразу мы дознались в горах. Целую неделю все еще жались по ущельям, словам не верили, не кланялись. А вдруг это выманивают нас на простор, горячо желают поскорейше нас перекокать? Официальные доплекались до нас сведения уже позже...

— Шо тут деялось на той День Победы!.. Среда, середка недели. Сонце играет! С утра не на работу — в город в Махарадзе — весь район на митинг! Там миру, там миру посвезли! Сколько страху и — замирились! Каждый день головы тыщами клались, и на — замирились!.. Замириться-то замирились, а почтарик в ту божью среду пук извещений по домам разнес. Там кричат... там кричат... На митинг хороше как подгадали. Выдали семьям погибшим помощь. Мне дали два кустюмчика. Глебке да Антохе. Хорошие кустюмчики. В будень жалко во всякий след таскать. А праздников у нас нема... Аха, взяла я кустюмчики со слезами да в ларек. Хлоп-хлоп себя по карманам... Иду не нарадуюсь на кустюмчики. Защитного цвета, с петличками. На левом рукаве синий кружок, птичка. На погонках по три палочки... Хлоп-хлоп себя по кармашкам, скинула мелочину в горсть да и ували за первый во всю войницу кулек копеечных яблочных конфет хлопцам своим. Гулять так гулять, сказал казак и разбил последнее яйцо в борщ. Расщедрилась наша девка... Там той куль не выше мизинца, а все праздник. А все хорошо. А все и мы люди. А все и у нас е кой-шо от Победы... Нема батька... Так е газетный кулечек конфетов... Е два кустюмчика. Е ще к ним две гарни фуражки с кокардами, высоченькие фуражечки... Вот и вся ему цена вышла по усатым меркам. Задешево сценили батька... В бою ранили... В госпитале помер от истощения. Больного не кормили?.. За то, шо був сын кулака?.. Задешево сценили... Уроде и не человек був, а так, прозвание одно...

— Не твой первый, не твой последний отдал голову. Таких мильон мильонов... Зря ты так про цену.

— Про цину, можь, и не права Полька... Обида сосет... Кого я знаю, все повертались. А чем же хужей я? Чего же со мной не по чести война разочлась? Лежит в Сочах... В братской могиле... А где, сама не знаю... И разу ж не була. Нуждонька все за полу держе, не пускае... Могильным камнем со мной война разочлась?.. *Туда* геройка бежал, да *оттуда* иль дорогу с-под ног скрали? Всю цену Полькиной доли впихнули в два детских кустюмчика да в слезы в мои? Невже то и вся красна цена?..

При этих словах Поля жестко, удушливо глянула на Сергея, будто он был сама война, потому с него и прямой спрос.

Сергей ничего не нашелся сказать. Лишь качнул плечьми, несколько утишил шаг. Он не знал, что отвечать.

Его молчание подкольнуло ее, ввело в злость.

— Какими ветрами тебя сюда прибило? — глухо бросила она.

— Одним словом не скажешь, Поленька...

Он, теряясь, замолк.

Во всю жизнь он никогда и никого не любил кроме Поли. Через всю жизнь, через всю войну шел к ней. Пока ехал с войны, все пытал себя, а как объяснишь, подтоптаный женишок, чего это ты почти двадцать лет спустя валишься снова к ней на порог?

Ответы самому себе казались картонными, кривыми и чем ближе, плотней на-

лезал час встречи, тем страшней становилось ему. Позывало вернуться назад. Но в море не повернешь. Плыть в свою страну хоть так, хоть эдак надо.

И когда в Батуме подсел в летний махарадзевский вагонишко, по бокам наполовину поверху открытый, без стен, без окон, похожий на шатко, на скрипуче бегущую вытянутую веранду, один голос порывисто, непоседливо заподсказывал непременно сойти в Натанеби, на узловой станции, где ходил московский поезд, и оттуда ехать к матери в Собацкий.

Вперебой другой голос ободрительно укорял:

«Толкись в тридцати верстах от своей древней присухи да обежать? Мимоездом не наведаться? Переплыть три моря и утонуть на берегу? Стыдись, муже!.. Другой случай Боженька может позабыть подать. Лови свою теплую удачку!.. Главно — встреться. Там что-нибудь да варакнешь. А потом по первому слову уже правься, как тот пройдоха, что говорил: «Мне абы вмазаться в драку, а там видно будет, кто кому чуприну надергает».

Зачем он приехал?

Разговор об этом следовало бы начать самому. Но он все не решался. Были на то и причины. При сынах разве кинешься на шею с объяснениями?

Уже то, что она сама спросила о главном, сняло с него камень. В ее тоне он уловил поощрительность, надежду, какое-то смутное обещание благополучия. Его хмельно качнуло, стало ликующе хорошо, и он косым каблуком, стоптавшим неизмеримые, лютые версты войны, медово притукнул:

— Куда не правишь, там не будешь... С первого свидания я не переставал думать про тебя... Даже когда были мы друг от дружечки за тыщи земель, я все-все-все знал про тебя!

— Ох! Распустые слова... Иль тебя кто повецал?

— Да уж... Я тебе уже говорил... Все ваши посланьца твоим старикам читала Анюта, доблестная сестрица моя. Она и ответы стариков под диктовку гнала вам. Соображалистая!.. Как нанялась... Как какое изменение у вас в ту далекую довенную пору, тут и шепнет мне — рот не зашьешь. Каждый же день только и ждешь вестоньки, что ты там, как ты там?.. Карточку вашу одну показывала... Тайком брала, тайком и подложила назад в стопку писем старикам... Так что видел я вашу карточку. То-то я с первых глаз узнал сегодня твоего меньшенького чапаенка... Мне казалось, ты тоже думала про меня... После *той* истории с побегом поджигало написать тебе.

— Иль ты младенская ударила?

— Не закипай... Я от сплюбови... Вот стала дурь в башке колом! Понимаю, писать тебе — только рану солить. Читать не умеешь, попадет цидула к благоверному. Тарарам! А с другого боку... Все мерещилось, тиранит тебя неизвестность про меня. Все думаешь, живой я, не живой. А получишь вестушку, успокоишься...

— Ну-ну! — подстегнула Поля, уже кое о чем догадываясь.

— Не подговаривай под руку... Раз Анюта нацарапала вам с Никитой курьей лапкой тарабарскую грамотку, сам архиерей не разберет. Приобещала старикам, что сама снесет на почту, как раз налаживалась туда бечь. Твои и оставь ей письмо... Сестрица за чем-то выскочила из хаты. Не утерпел я, раздернул треугольник. Поперек, на поле, крючковатисто пририсовал: «А я, курилка, жив!!! С.» Что-то еще и под Анютиной датой начеркал, уже не помню. И снова аккуратненько сложил треугольничек... Я так решил. Никиток не дотумкает, кто такой там С. А ты, может, угадаешь мой подчерк, узнаешь, что я живой и заспокоишься. Мне большего праздника не подавай...

— Зас-по-ко-о-ил!.. Зас-по-ко-о-ил!.. — срезанно, с пристомом выдохнула Поля. — Из-за тэбэ, выходэ, шмыгнули мы с края Севера аж в Насакирали?!

Не умея читать, Поля любила подолгу рассматривать письма. Пока Никита

соберется читать, она до буковки изучит письмо. Прочитав, Никита обычно кидал его на комод. Это же, с припиской поперек, он кое-как отмолотил и хмуро швырнул в печку. Кажется, он-то и все его не прочитал вслух, а так, куски кой-какие похватал...

Недели три, смутно припоминала Поля, ходил Никита, как потерянный. Заговорил о переезде. Заболелся горбылевского преследования?

— Вот и отгадка, — вслух упало подумала она. — Теперь и я знаю, чего мы очутились туточки. Выкурил нас курилка с моря на море?..

Поля растерянно заозиралась. Она не знала, что и делать. Разругаться? Прогнать?

Но странно.

У нее не поворачивалась на то душа. Да и поправишь ли все это сейчас? И лез ли т о г д а Сергей не в свои сани?

Может, это она не в свои санушки кинулась? Обрадовалась, что богатик по-манили, как кошку, и в чужих санях вовсе выключила из головы Серегу, выключила все то, чем жила, чем дышала? Все ли в этом ее шаге было по правде? Может, это она сама вершила все эти долгие годы не свои дела? Не оказался ли Сергей верней нее в любви?

Не всякая любовь начинается в час венчания, не всякая любовь кончается при видимом разрыве.

На жестоком разрывном ветру его чувство возжглось еще ярче, окрепло, уматерело. Именно сильная, непостижимая любовь удерживала его, не пускала впрямую вломиться в прохладную, в дырявую жизнь молодых.

Все это Поля угадывала чисто бабьим чутьем, и липкая жалость к этому страдалику одолевала ее.

Ей пало на ум, что Никита был весь нараспашку. Той же открытости требовал и ото всех. Но вот почему слетел к югам, пряча следы от Горбылева, и ни словечушка не проронил Поле об истинной причине переезда? Он долгие годы носил обиду в себе на Полю за ту приписку, ни разу не проговорился, ушел с той обидой на фронт, погиб с той обидой. Она представила, как в сочинском госпитале он умирает от ран, от голода, от истощения, язвенные губы в предсмертье шепчут-хрипят: «А курилка жив!.. А курилка жив!! А курилка жив!!!»

— Так чего же, парубоче, добился ты той курячей припиской? Это край надо? Взarez надо? Удумал, сляпал шо!..

Тут ей вспомнился разговор с комендантом заполярной высылки, и она поняла, что Сергей вовсе ни при чем. Не Сергей, не Сергей, а во-он кто скинул нас с края на край страны...

Она повинно затихла.

«По колено я в грехе перед тобой, богоравная Поленька», — терпко подумал он. А вслух раскаянно сказал:

— Желторотик был... С простинкой... Разве молодой дури прикажешь? Одна-че... Плюсы есть и у ошибок. Их можно подправить... Даже через время... Что бы ты ответила, намекни я, что приехал к тебе навсегда?

— Навсегда? — отстраненно переспросила она, как сквозь полусон, плохо соображая, про что же здесь речь.

— Навсегда, — подтвердил он.

Она неодобрительно покачала головой.

— То вжэ будэ стара дурь... Бедовый... В секунд все вырешил...

— В секунду, если не считать двадцати наших лет.

— То-то и лихо... Года...

— А такая уж это напасть? Просто жених за это время... — Сергей тускло припечалился, — выскочил в люди, всюю разбогател годами...

— Женишок ловкий, слова зря шелудшить нечего. Да и невеста под пару. Край как богатая. Своих трех ухажеров уже подняла... Я на лето молодше тебя, а ты ще семьей и не жил. Я ж изжила свою жизнь до пепла. Зараз я не я, это зябкая тенька моя. А вся я в своих хлопцах... Вроде не уркаганы. Боюсь, як бы уркаганами не выросли... Прихвалюсь, хай и не к случаю... Побежишь, бувало, у школу на родителево сходбище, станет Сергей Данилович, завуч, выкликать, так примирае душа. Хвалит моих. Другие, говорит, ничо чем не хотят учиться. Вон Талаквезде... Это кассир у нас. Жинка не робэ. Он один наворовал на домяку, як контора. Так про ихних детей Сергей Данилович... При отце-матери, говорит, едут на двойках. Весь день на велосипедах гоняют. День в школе, два мимо школы. Учиться не хотят. Тянут, тянут их за уши — все уши оборвут, ель тепленькие троечки к концу четверти вытянут с грехом пополам из тех беспутных ушей. А моих никто не тянет. Ни за руки, ни за волосы, ни за уши... Ни за что. Они и так... Митюша отличник не только по физкультуре да по пению. Круглый пятерошник! Как начал пятерками круглыми первый класс, так вот зараз в шестом, а каждый божий год по похвальной грамотке за каждый класс отхватывает. Глеб на учебу жиже, крутей ученье ему дается, так старается как!.. На собраниях Сергей Данилович гарно подхваляет моих. Смотрите, говорит, в какой нужде-бедности бьются. Отец погиб. Мать одна, без хозяина, выходила трех сыновей. А смотри, ни один не пошел в хулиганье. Людьям будут! Ни один не курит. Учиться — передовые по школе идут, поведением отличники. Работать выйдут на чай — и тут первые. Во-он с кого пример надо рисовать!.. Как это слушать? Я, може, заради таких слов на собрании и живу? Заради них и качаю беду-нуждоньку? Бедность производит людей из детей. Складно пока все бежит... Вот вспомню себя в детские лета. Прочулась по чернотропу до первого снега, большь батько не пустили в школу. А тута одна троих тяну! Хиба цэ погано?

— Что сравнивать? Ты в школу пошла когда? В шестнадцатом? Время одно было. Сейчас другое... Сравнения сравнениями, только мы в сторону заехали. Кому что, а курице просьцо... Я без подходов-переходов... Надо нам, Полюшка, прибавиться друг к дружке... к одному островку...

— Э-э, — кисло усмехнулась Поля, — ума у тебя полна сума да еще в горсти трошки... Странулся монах, когда повно в штанях. Про островок надо было думать до венца!

— А что я мог поделывать, если твои старики всё гудили меня? Мол, гол, как сокол, зато востер, как бритва! И не хотели меня в зятья.

— Може, того и не хотели, шо ты не очень-то и разбегаешься?

— Поля! — с какой-то перегорелой, с отлежавшейся, с домашней отчаянностью воскликнул Сергей. — Побойся Бога! Я ли не любил? Я ли не увозил тебя?

— Надо было увозить девочку. А не бабу.

— Да ну куда бы я тебя увез?

— Всего-то за между... Хаты ж стоять рядом! И не померла б... А зараз в пустой след чего слова кидать?

— В пустой? Что, нам по сто лет? Мне тридцать семь, тебе в октябре вот, седьмого, будет тридцать шесть. Какие наши годы?! Гуляй, как вольная утка в воде. Еще жить, жить... До нашего вечера далече...

— Уж так и далэко? Рядом вот зараз идэмо, а одно одного не бачим.

— Я шире... Про вечер жизни... Сыны твои, все тяготы твои — отныне и мои. Наши!

— Нет, Сережа, не толкай все в кучу. Оттого, шо ты назовешь хлопцев своими, рази станут они твоими? Они вжэ возросли, знають, помнят ридного батька.

— Да! Да! — навспех согласился Горбылев, вспомнив разговор с ребятами. Вспомнил про уполномоченного. Вспомнил, как Митрофан показывал меньшень-

кому на портрете отца. — Знаешь, мне совестно перед ними... Извини, что напрягло лямку... Свои... Секретов нету... Когда я узнал, что Никиты не стало, наладился я... буду им отцом. Хоть стой, хоть падай... Меньшаку — я встрел его первым — с лету папанькой представился. Вот дурека, да еще внасыпочку. А старшой раскокал меня. Все поставил на свои места. Подпихнул Антона к увеличенной карточке на стене, где ты с Никишей. «Во-он, — жает пальцем, — твой батенечка. А этот...» — И пропаще махнул на меня. Мол, э-э, так... Какой-то приبلудный чувак болотный... С пинка началось знакомство...

— А ты чего посплаще ждал?.. Без них?.. Все сам?.. Ридным батечком назався. Ну кто ж делае первый шаг брехливый?

— Глупо крутнулось... Прости... Голова пустая, как кошелка, всюду продувает... Поджалеть хотелось... Наверно, можно все объяснить парням? Неужели не поймут?

— Гляди, и поймуть. Тилько ридного батьку ты им заменишь? Можь, я тебе и нужна. Ты все это молотишь натошача по бабьей сладости. Но... Кто наелся, разве не отходит от стола? Не спеши с клятвами. Не спеши с божбой. Я одна тебе, гляди, и нужна. Без них.

Он посмотрел на нее особенно долгим внимательным взглядом и не увидел ее ясно в плотной тьме.

— Ну почему ты все знаешь за меня?! — на нервах подкрикнул он. — Дети вырастут... Выучим! Людьями станут!

— Грузчиками... Отцы приходят и уходят, а диты остаются... Чужи кому нужны? Писля попомнишь... Скажешь, правду Полька лила... Подумай... Мои года тебе уроды. Невеселое приданое. На шо тебе этот барыш? На шо тебе мой омут? Уж я сама буду в ем кулюкать... А ты видный собой парубец, найдешь красуню без хвоста... Ра-адый будешь увэсь до беспамятства...

— И тут у тебя все расписано, как по нотам! — надорванно вскозырился Сергей. — А не хватит?! На нет и ответа нет!

Он споткнулся. На спине в вещмешке жалостно звякнули консервные банки.

«Все мое все со мной? — деревянко подумал о вещмешке. — Хорошо, что по забывчивости не рассупонился конишка... Как чуял, овсеца не подадут... Ну... Объялся мыла, побегу щелоку хлебу в вокзальном буфете...»

Горбылев вмельк покинуто прикоснулся губами к ее нахолодалой шелковистой щеке и быстро, перебоисто пошел задом наперед, щемливо примахивая в прощанье отяжелелой рукой.

Его фигура слилась в единый черный столб. Скрежеща, чиркая железными подковками об камня, столб отдалялся, быстро таял.

«Ну, Сергуха, ты и брехло-о! — ругнул себя Горбылев. — Набросал пыли в глаза... Наплел — в три короба не втопчешь. Чего плел про Италию? Ну зачем ты выхвалялся бабе, что у тебя агрономический диплом? А она в простоте и поверь... А я ж того диплома и в глаза не видывал... Да что диплом? Кому он нужен? Мне и трех хуторских классов за глаза доvole. Убедился, когда переводили в райком партии. Сели мы с первым рисовать мою анкету. Он интересничает, сколько у меня мешков образования. Я ему так горячо сунул под нос растопырку из трех пальцев. Полнющих три класса! Он не удивился: «Сойдет! У меня тож без перебора грамотенции». И в этом я утвердился, не вставая со стулки. В нужной графке он написал: «низшее». Я и то додул, что что-то лишняку он всадил. Область, говору, может тормознуть. Он говорит: «Если написать неначатое низшее, то натачнашку и вовсе не пропустит». И успокоились мы на незаконченном высшем. Со словарем написали. И бегаю я петушком с незаконченным высшим. Нигде ни у кого вопросов!..

А зачем ты наплел ей про стрелка-радииста прорывного танкового полка? Про

лагерь? Про побег? Про Италию? Ты ж в Италию и во сне не заскакивал! Дорогой из Румынии с тоски сочинил про себя красивую сказоньку?.. Вонравиться разбежался... А ей все это, как видишь, по сараю... Набрядла тебе крысиная... норковая житуха политрука минометной роты и агитатора при армейском фронтовом госпитале? Ты ж многостаночник... Рвался между агитатором и политруком. Очень хотелось послужить дорогой Софье Власьевне — Советской Власти-то. И служил вперемежку то политруком, то агитатором. Сил не жалел. Все служил... Водил политрукой... А между прочим, хлебное негорячее местечко политрука-агитатора, может, и спасло мне жизнь. Отсиделся в политруковско-агитаторской норке. Я был на войне. Но я не нюхал войны... Пускай нюхают другие... Никиток нанюхался. Где он теперь? Червячков *там* кормит... Кормить-то кормит... А местынько в сердце Полюшки так и не ослобонил...»

На черной дороге Поля осталась одна.

Страх связал ей душу, связал всю ее. Она растерянно пристыла на месте.

Где-то далеко от города, машина то ли несла в ночи высокую охапку веселого света, то ли с пристоном гналась за своим огнем.

Поля стояла и смятенно думала, что же делать?

Кинуться вслед за глоснущими, за умирающими звуками горбылевских шагов или взять опадыши и идти домой разводить печку?

Так что же?

Что же?

Что?